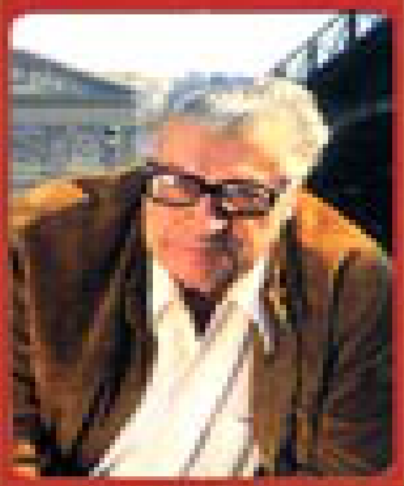
Анри Труайя



Моя столь длинная дорога

Русская биография
«ЭКСМО»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Анри Труайя – знаменитый французский писатель русского происхождения, член Французской академии, лауреат многочисленных литературных премий, автор более сотни книг, выдающийся исследователь исторического и культурного наследия России и Франции.

Одним из самых значительных произведений, созданных Анри Труайя, литературные критики считают его мемуары. Это увлекательнейшее литературное повествование, искреннее, эмоциональное, то исполненное драматизма, то окрашенное иронией. Это еще и интереснейший документ эпохи, в котором талантливый писатель, историк, мыслитель описывает грандиозную картину событий двадцатого века со всеми его катаклизмами – от Первой мировой войны и революции до Второй мировой войны и начала перемен в России.

В советское время оригиналы первых изданий мемуаров Труайя находились в спецхране, куда имел доступ узкий круг специалистов. Теперь у вас появилась возможность прочитать полную версию этой книги, впервые изданную на русском языке.

- Анри Труайя
  - От переводчика
  - Предисловие Анри Труайя
  - Предисловие Морис Шавардес
  - Анри Труайя
  - Список иллюстраций
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37

Анри Труайя
Моя столь длинная дорога

От переводчика

Анри Труайя родился в Москве 1/14 ноября 1911 года в семье видных армянских купцов Тарасовых и раннее детство провел в России. Тарасовы покинули страну, когда их младший сын Лев был еще ребенком.

Лев Тарасов приобрел мировую известность как французский писатель Анри Труайя – лауреат многих литературных премий, член Французской академии.

Труайя избрали в Академию в 1959 году в возрасте 48 лет, и он долго оставался самым молодым из «бессмертных». Ныне Анри Труайя – старейший писатель современной Франции: в ноябре 2004 года ему исполнилось девяносто три года.

За свою долгую творческую жизнь Труайя написал более сотни томов, половина которых посвящена России. В их числе его знаменитая серия «русских биографий» – галерея любовно выписанных портретов в прозе великих русских писателей от Жуковского до Цветаевой, русских царей от Ивана Грозного до Николая II. «Русские биографии» Анри Труайя переведены на многие языки и давно известны мировому читателю. За последние годы издательство ЭКСМО выпустило в переводах на русский язык «биографическую серию» Анри Труайя, и российский читатель может прочесть эти книги и сам судить о них.

Одной из самых значительных книг Анри Труайя французская критика считает его воспоминания «Моя столь длинная дорога», в которой автор, отвечая на вопросы французской журналистки Морис Шавардес, рассказывает о своем жизненном и творческом пути.

В советское время книга (первое издание – 1976 год, второе – 1987 год) находилась в спецхране.

Третье, и последнее, издание выпущено в 1993 году,[1] рассказ в нем доведен до перестройки в России и распада СССР.

К 85-летию Анри Труайя несколько фрагментов из этой книги опубликовал журнал «Дружба народов» (1996, № 10, 11). Издать же всю книгу не удалось ни в одном из московских издательств. И только теперь, в 2005 году, благодаря усилиям издательства ЭКСМО эта замечательная книга выходит в полном переводе и станет наконец доступна отечественному читателю.

«Моя столь длинная дорога» – увлекательнейшее литературное произведение, искреннее, эмоциональное, то исполненное драматизма, то окрашенное иронией. И, как убедится читатель, глубоко содержательное: в нем автор

размышляет о проблемах, актуальных во все времена. Назовем лишь некоторые из них: судьба маленького человека, разрушение идеалов на крутых поворотах истории, место семьи, молодежи, женщины в современном мире, проблемы нравственности, творчества, взаимодействия двух разных культур…

Эта книга и интереснейший документ эпохи, где глазами писателя, историка, исследователя увидено само Время – весь XX век со всеми его катаклизмами от Первой мировой войны, революции до Второй мировой войны и начала перемен в России. «Мемуары» Анри Труайя заслуженно занимают достойное место среди «Мемуаров XX века».

Анри Труайя – уникальная фигура в современной литературе Франции. «Я страстно и глубоко люблю русскую литературу, – говорит этот живой классик. – Произведения великих русских писателей питали мой ум, обогащали мои чувства, формировали мое сознание. И поныне меня волнует все, что происходит в России. Мне кажется, что я дерево, корни которого русские, а плоды французские».

Анри Труайя, знаток русской литературы и истории и в высшей степени наделенный тем, что принято называть «французским духом», – воплощение самой идеи взаимопроникновения и взаимовлияния двух великих культур – России и Франции.

Н.Т. Унанянц

Предисловие Анри Труайя

Первое издание этой книги вышло в 1976 году. Через одиннадцать лет я опубликовал вторую версию – пересмотренную, дополненную, актуализированную. И вот теперь, подготавливая третий вариант, я должен добавить к моему прежнему рассказу несколько новых страниц.

И я с грустью пишу эти новые страницы, ибо чем больше воспоминаний хранит человек в своей памяти, тем труднее ему отрешиться от них и следовать дальше по своему жизненному пути.

А.Т.

Предисловие Морис Шавардес

Рассказать о своей жизни… Какой романист, достойный таковым называться, этого не делает? И однако, когда я предложила Анри Труайя ответить на несколько вопросов, надеясь заинтересовать его идеей более прямого общения с читателями, он очень встревожился – так пугало его то, что придется говорить о себе от первого лица.

Боюсь, эта тревога не покидала его до самого конца наших бесед.

Есть авторы, обычно испытывающие прилив красноречия, когда предмет их речей – они сами, но есть и иные, вовсе не менее искренние, которым претит сама мысль об исповеди. Это называется стыдливостью.

Сказать «Мадам Бовари – это я» – значит, ничего не сказать о своей личной жизни – и открыть путь тысячам разных ее интерпретаций. В каждом из персонажей Анри Труайя есть что-то от него самого, что-то от знакомых ему людей. Он в этом не без смущения признается: вручает ключ, набросок к портрету – портрету писателя отнюдь не торжествующего, но и чуждого ложной скромности.

Раннее детство он провел в богатой семье, но в изгнании рано познал нужду. Талант помог ему преуспеть. Его успехи сделали его тем, кого называют баловнем судьбы. Счастлив ли он? Да, как будто соглашается он, но тут же оговаривается: «о настоящем счастье рассказать невозможно». Он говорит об этом неохотно, но мы все-таки угадываем истину.

Когда жизнь так удалась, чувствуешь ли уверенность в себе? Ни в малейшей степени. Этот писатель, богатырского телосложения, крепко сбитый, сомневается в себе. Он полагается только на свою работу. Когда смотришь на него, слушаешь его, в памяти невольно всплывают остроты, на которые вдохновляла современников Боссюэ[2] его фамилия: Bos suetos aratro…[3] Послушаем Анри Труайя: «Я должен возделывать мою борозду, чего бы мне это ни стоило, несмотря на препятствия, которые возникают на моем пути…» Послушаем, как он описывает самого себя: «человек тени, работы, одиночества».

Пройдя «столь длинную дорогу» – от мира старой России к миру современной Франции, – теперь он один из наиболее читаемых у нас авторов и более француз, чем кто-либо другой. При этом он никогда не отрекался от своих корней… В рабочем кабинете его окружают книги, папки с материалами, рукописи, на обшитых деревянными панелями стенах с любовью выбранные

картины: два изображения Толстого (портрет маслом работы польского художника Яна Стыки, на котором автор «Войны и мира» поставил свою подпись, и гравюра работы отца Бориса Пастернака[4]). Четыре русских эстампа 1812 года с видами Петербурга (с подписями на французском языке). Еще один эстамп 1815 года изображает прощание офицера русской императорской армии с парижанкой. Наконец, документ на русском языке, который Анри Труайя бережет как зеницу ока, – переплетенный в рыжеватого цвета кожу «Манифест об освобождении крестьян», изданный Александром II.

Непоказная верность, которую не осмеливаешься сравнить с культом. Впрочем, ведь подлинные святилища – те, что возведены внутри нас, и они не нуждаются ни в иконах, ни в курении ладана. Россия Анри Труайя, наполняющая его романы, на самом деле его внутренняя Россия, созданная им в душе и до такой степени овладевшая им, что он не решился посетить страну, которую не видел с 1920 года, предчувствуя, какой травмой станет для него разрыв между землей реальной и землей обетованной.

Так, воспоминания ребенка – ему было восемь лет, когда его родители эмигрировали, – сотворили чудо: полтора десятка книг, прочитав которые здешний читатель открывает для себя душу иного мира.

Конечно, впечатления детства дополнили чтение и воспоминания, разбуженные в очевидцах и граничащие с подлинной историей, но как бы обходящие подводные камни. Будучи романистом традиционного склада, Анри Труайя старается «никогда не жертвовать историей своих персонажей ради Истории или, точнее, показывать Историю через историю своих персонажей». Приоритет за личными судьбами. Прежде всего, люди – эти существа из плоти и крови. Никаких теорий. Читатель, если пожелает, может, опираясь на конкретные детали, сам воссоздать повседневную жизнь.

Жизнь… В ней есть все: смирение, упорство, тайны, чудеса. Анри Труайя всматривается в жизнь, удивляется, наблюдая своих современников, воскрешает жизнь тех, кто ушел задолго до нас, придумывает ее, поклоняется ей. Одним словом: *верит в нее*. Не исключая из нее и *малых сих*: крылатых, косолапых: собак, кошек, дроздов, обитающих в виноградной лозе дома на Луарэ. И не забывает он и о природе. Читатель увидит, с каким умилением Анри Труайя рассказывает об оливковых деревьях Прованса, о березках, посаженных его женой (привезенных из России его братом – теперь березы самые высокие и самые красивые из деревьев)…

Я умолкаю. Те, кто любит его романы, займут мое место и прочтут то, что без самодовольства, с предельной простотой он сам рассказывает о себе, своем детстве, семье, своих вкусах, страхах, надеждах, наконец о своих книгах и их персонажах.

Морис Шавардес

Анри Труайя
Моя столь длинная дорога
Беседы с Морис Шавардес

– Анри Труайя, вы назвали наши беседы «Моя столь длинная дорога». Почему?

– Потому, что огромное расстояние отделяет места, где я родился, от тех, где я теперь живу. Семья моего отца родом из Армавира, небольшого полуармянского-получеркесского городка на Северном Кавказе. С незапамятных времен армяне жили в горах в тесной дружбе с черкесскими племенами. У черкесов они переняли образ жизни, язык и одежду. Они носили черные черкески, украшенные на груди кожаными газырями, папахи, за поясом – кинжал в серебряных ножнах; питались молочной пищей и сушеным мясом. Они то и дело взывали к Аллаху, но хранили верность христианскому богу. В аулах, где жили эти черкесы-гаи, как их называли, не было церквей. Раз в год с далекого юга, из Эчмиадзина, приезжал в этот край армянский священник и венчал молодые пары и крестил новорожденных. Исполнив свой долг, он спешно пускался в обратный путь, моля Бога уберечь его обоз от нападения разбойников, прятавшихся в горных ущельях.

Когда Россия начала завоевание Кавказа, перед черкесами-гаями остро встал вопрос совести: чью сторону им принять в войне завоевателей с горцами – своих друзей-мусульман против православного царя или православного царя против друзей-мусульман. Религия армян близка к русскому православию, и преданность Христу победила: черкесы-гаи восторженно встретили русских и перешли на их сторону. В войне с черкесами-магометанами они служили проводниками, разведчиками, переводчиками и оказали русским ценные услуги. В награду в 1839 году черкесы-гаи получили русское подданство и разрешение построить город с правом внутреннего самоуправления. Этим городом, а скорее, обычным аулом, обнесенным частоколом и окруженным рвом, и был Армавир. Мой предок обосновался здесь со своей семьей. Его звали Торос, и царские чиновники, русифицировав его имя, превратили его в Тарасова. Все это сотни раз рассказывал мне отец, слышавший об этом от своего отца. Рассказывал он и о ранней истории города, жившего под постоянной угрозой черкесских набегов. Как только часовой сообщал о появлении на равнине какой-нибудь подозрительной группы всадников, мужчины вооружались и

бежали на крепостной вал, а женщины, дети и скот укрывались в лесных зарослях – своего рода кавказский «вестерн». Перестрелка продолжалась до наступления темноты. Несмотря на беспрерывные налеты черкесов, Армавир процветал, укреплялся и принимал новых жителей. Когда усмирение страны было почти закончено, город стал превращаться в крупный торговый центр. Мой прадед открыл здесь широкую торговлю сукном. Русские торговцы-перекупщики, черкесы-горцы, армянские купцы, приезжавшие с юга, охотно покупали его товар, потому что торговал он честно и не завышал цену. Но в жилах у этих людей текла горячая кровь, и приказчики в лавке были вооружены не только деревянными аршинами – отмерять ткани покупателям, но и пистолетами – отражать внезапные нападения черкесов.

Ребенком мой отец – его звали Аслан – лучше говорил по-черкесски, чем по-русски (впрочем, в доме все говорили по-черкесски). Единственный сын в семье (у него было три сестры), он проводил целые дни среди пастухов на дальних пастбищах, где паслись стада баранов и табуны диких лошадей. Там он научился джигитовать и бросать лассо – образование явно недостаточное для будущего наследника торгового дома Тарасовых. Мой дед, человек суровый и дальновидный, послал своего девятилетнего сына в Москву, в Коммерческий институт, совершенствоваться в русском языке и постигать азы торговли. Когда десять лет спустя отец вышел из стен этого заведения, московский лоск надежно скрывал истинную натуру потомка черкесов-гаев. Он говорил по-русски почти без акцента и был готов возглавить семейное предприятие. Встреча в Екатеринодаре (теперь Краснодар) с молодой девушкой, белокурой красавицей Лидией Абессаломовой, решила его судьбу: любовь с первого взгляда, быстрая помолвка, сказочная свадьба в Армавире. В городе только что провели электричество, и отец, чтобы придать больше великолепия церемонии, взял напрокат прожектор, использовавшийся во время царской коронации в Москве. Прожектор укрепили на фасаде дома и подсоединили к динамо-машине, находившейся в конторе торгового дома Тарасовых. Вечером свадебный кортеж, возвращавшийся из недавно выстроенной церкви, был внезапно залит ослепительным светом. Лошади испугались, горцы принялись взывать к Аллаху, нищие протягивали руки к сверкающим лучам, точно к потоку золота. За венчанием последовал праздничный пир, длившийся пять дней. На пятый день один из моих двоюродных дедушек скончался от несварения желудка, и праздник завершился. Гостей, живших далеко от Армавира, развезли по домам в специально заказанных вагонах.

– А ваша мать из какой семьи?

– Семья моей матери (два мальчика и три девочки) была счастливой, сплоченной и жизнерадостной. Моя бабушка с материнской стороны, немка по происхождению, воспитывалась в Смольном институте и после замужества целиком посвятила себя мужу и детям. Мой дед с материнской стороны – армяно-грузинского происхождения. Он был врачом в Екатеринодаре и страстно увлекался разведением роз. В его натуре замечательно соединялись врожденная веселость и высокое сознание профессионального долга, любовь к жизни и безграничная преданность своему делу. Эта последняя черта его характера с блеском проявилась во время эпидемии холеры, опустошавшей провинцию в 1892 году. В окрестностях Дубинки – пристанища всякого рода проходимцев, нищих, прочего сброда – молва обвиняла врачей в отравлении колодцев и убийстве людей. Санитар, посланный оказать больным помощь, был растерзан толпой. Мой дед отправился в Дубинку совсем один, обратился к враждебно настроенной толпе с увещеваниями и в доказательство своих добрых намерений выпил воды из колодца, слывшего зараженным. Потрясенные его мужеством самые яростные из обвинителей пустили его в свои лачуги и позволили лечить своих близких. Дед чудом избежал заражения. Этот эпизод я включил в роман «Пока стоит земля», так же как и многие другие события из жизни моей семьи в России и в эмиграции.

После свадьбы родители несколько лет прожили в Армавире. Моя мать томилась там от скуки и мечтала о блестящей жизни большого города. Единственным развлечением были визиты соседей-армян, приезжавших позлословить, да прогулки в коляске вдоль полотна железной дороги. К великой радости моей матери, ее заветное желание вскоре осуществилось: отец тайно подготовил открытие в Москве филиала торгового дома Тарасовых. Для отца и своей семьи он купил особняк в районе Арбата на углу переулков Медвежьего и Скатертного. В этом доме в Москве я и родился 1 ноября[5]1911 года. Мне дали имя Леон (по-русски Лев). Я был младшим из троих детей: сестра Ольга старше меня на девять лет, брат Александр – на четыре года. Мне потом рассказывали, что мое рождение чуть было не стоило матери жизни.

Я сохранил смутные воспоминания о местах, где прошло мое раннее детство. Обрывки каких-то картин – огромные комнаты, стены которых словно растворяются в тумане, громоздкая мебель, монументальная лестница – проплывают в моей памяти подобно пустым деревянным ящикам, покачивающимся на поверхности реки. Гораздо яснее я помню лица. Вокруг нашей небольшой

семьи сновала добрая дюжина слуг. Каждый из них выполнял определенные обязанности, отличался характером и причудами. Лучше всего я помню няню, мою старенькую кормилицу (так ли уж она была стара?), с ее нравоучениями, причитаниями, суевериями, знавшую множество сказок и поговорок. Помню и нашу гладильщицу: она умела петь народные песни, а когда гладила белье, обрызгивала его время от времени фонтанчиком воды изо рта. Помню бородатого кучера, вечно завидовавшего безбородому шоферу: он до слез обижался, когда моя мать заказывала для поездки в город машину, а не приказывала, как прежде, закладывать коляску. Были, кроме того, швейцар – он зимой строил во дворе снежные горки для катания на санках, сторож-черкес, привезенный из Армавира, – его мой брат дразнил, складывая край пальто в виде свиного уха (высшее оскорбление для магометанина!), часовщик, приходивший в определенный день и прослушивавший все часы в доме, быстроногий полотер, от которого исходил какой-то терпкий запах, повар с багровым опухшим лицом, доводивший до слез молоденькую горничную. Но главное – у нас была гувернантка-швейцарка, властная особа, дородная, затянутая в корсет, с красными прожилками на лице и пушком на подбородке. В моих глазах она была соперницей няни. Ибо няня – это была Россия, русский язык, русские обычаи, волшебные сказки, уютное и защищенное детство, сладкие грезы в мерцающем свете ночника. Гувернантка олицетворяла будущее – учение, строгую дисциплину, французский язык, Францию. Я скорее должен был бы сказать – Швейцарию. Она учила меня песням своей страны, а в декабре, ко дню Эскалад[6] – национального праздника швейцарцев, – выписывала из Женевы горшочки с марципановыми овощами. По ее рассказам, Швейцария виделась мне гигантской страной – гораздо больше России. Сразу за Швейцарией и Россией по размерам и окружавшему ее ореолу шла Франция. Я полюбил Францию задолго до того, как узнал ее. Дома я говорил с няней и родителями по-русски, с гувернанткой, братом и сестрой – по-французски. Но с братом и сестрой я мало общался: разница в возрасте между нами была так велика! В моем представлении они уже влились в мир взрослых: в городе у них были друзья и занимались они по книгам, а я все еще жил в счастливом и призрачном королевстве игрушек. Я играл один, забавлялся до изнеможения всем, что попадало мне в руки: кубиками, оловянными солдатиками, плюшевыми мишками, лентами, косточками для игр, деревянными чурками. Но больше всего я любил, свернувшись в клубочек у ног матери, перебирать мотки разноцветной шерсти и слушать, как она рассказывает сказки. Это

были всегда одни и те же старинные русские народные сказки: о Коньке-Горбунке, о золотой рыбке, о колдунье Бабе Яге и ее избушке на курьих ножках. Я знал наизусть все перипетии этих историй, но дрожал от страха всякий раз, когда мать рассказывала их, понизив голос. Она обладала, по-моему, настоящим талантом рассказчицы. Добавьте к этому искрящуюся веселость, любовь к яркому свету, краскам, к смене впечатлений, тягу к молодежи. Даже в последние годы жизни в Париже, больная и старая, она умела побороть свои недомогания, чтобы не огорчать близких, и утверждала, что скучает среди людей своего поколения. Насколько мать была непосредственна и впечатлительна, настолько отец был вдумчив, серьезен, уравновешен. Друзья в один голос превозносили его высокие моральные качества, его прямоту и энергию, но нередко подтрунивали над его склонностью видеть все в слишком мрачном свете. Он обожал жену и детей и постоянно тревожился за них. Культ семьи приобрел у него какое-то первобытное величие. Подобный душевный склад он, несомненно, унаследовал от армянских и черкесских предков – верность клану считалась у них одной из самых высоких добродетелей. В России перед революцией отец занимал очень видное положение в деловом мире. Кроме торгового дома Тарасовых, филиалы которого находились во многих городах провинции, он также управлял железнодорожной линией Армавир—Туапсе на Кавказе.

Мои родители так часто и подробно рассказывали мне о жизни в Москве, что бывают мгновения, когда я спрашиваю себя, не сопровождал ли я их в театр, на балы, на обеды в городе. Напрягая воображение, я вижу так же отчетливо морщинистое лицо моей старой няни, как и лицо Шаляпина, исполняющего арию в «Борисе Годунове», а мою детскую так же ясно, как огромный зал ресторана в Стрельне с его витражами, пальмами, фонтанами и венгерским оркестром. То было время обманчивой безмятежности, роскоши, за которой таился страх. Вскоре все: прогулки в санях, катание на коньках, ночи у цыган – было сметено ураганом.

Война, революция… Кровавая драма для взрослых и увлекательная игра для ребенка. В 1917 году мне только что исполнилось шесть лет, и я помню, какое волнение охватило меня при известии о боях на улицах Москвы. В любой день вместе с таинственными существами, которых называли «большевики», в наше повседневное существование мог ворваться дух приключений и нарушить привычное течение нашей домашней жизни. Для защиты от осколков снарядов и пулеметных пуль окна заложили матрасами. С улицы непрерывно доносились выстрелы

и крики – там происходило что-то загадочное и необъяснимое, докатывавшееся к нам из города, точно рокот далекого моря. Друзья нашей семьи, жившие в кварталах, ставших небезопасными, переехали к нам и спали на расставленных в коридоре кроватях. Моя няня истово била поклоны перед иконами, и на лбу у нее образовалась ссадина, а гувернантка плакала и требовала отправить ее в Швейцарию. Нередко мы с братом, обманув ее бдительность, отодвигали угол матраса, выглядывали на улицу и видели, как из-за угла, крадучись, держа ружья наперевес, появлялись какие-то люди. У некоторых из них на рукавах были повязки. Брат объяснял мне: «Это белые. Они хотят внезапно напасть на красных». Мне очень хотелось знать, такие ли они красные, как, например, краснокожие. Гувернантка утверждала, что нет, но она ведь была швейцарка и ничего не смыслила в революционных делах. Когда перестрелка прекращалась, наш сторож-черкес выбегал на улицу, приносил нам горсточку шрапнели и удивлялся: «Посмотри-ка, она еще теплая!» Вдруг взрослыми овладела паника, они только и говорили о паспортах, о пропусках. От нас уходили слуги, одни – с враждебным видом, другие – с насмешливым. Большевики захватили город и брали заложников среди богатых людей. Мой отец, опасаясь ареста ЧК,[7] вынужден был бежать из города. Буржуазию объявили вне закона, лишили гражданских прав; участились обыски, начался голод, не хватало хлеба, лекарств. Россия и Германия подписали в Брест-Литовске мир, но с фронтов, где возобновились бои между белыми и красными, поступали противоречивые сведения. Моя мать, изнемогавшая от тревоги, решилась вместе с семьей бежать из Москвы и попытаться соединиться с отцом, находившимся в Харькове. Один народный комиссар помог ей раздобыть нужные документы. Она зашила драгоценности в подкладку наших пальто, и мы отправились на вокзал: мать, брат, сестра, бабушка и кипевшая негодованием гувернантка-швейцарка. Няня осталась в Москве: она говорила, что ей, женщине из народа, нечего бояться большевиков. Мы были одеты бедно и не вызывали подозрений у новой милиции, патрулировавшей улицы, но я понимал, как опасен этот маскарад, и шел, держа руки в карманах: в швах были спрятаны банковские билеты. Что было дальше? О! Это было захватывающее бегство через всю Россию! Мы бежали зигзагами, сообразуясь с менявшейся линией боев между красными и белыми. Большую часть пути мы ехали в теплушках. Маршрут смешался в моей памяти, но некоторые не связанные между собой картины навсегда запечатлелись в моем сознании. Так, я помню вагон, до отказа набитый мужчинами и женщинами. Лица их

были враждебны, они подозрительно поглядывали на нас и между собой называли нас грязными буржуями, «кровопийцами». Год назад доктор прописал мне от анемии пить бычью кровь, и теперь я спрашивал себя, не за это ли они так меня называют? Но ведь я с таким отвращением глотал это питье! В этом враждебном окружении мы жались друг к другу и почти не разговаривали, лишь бы не привлекать к себе внимания. Вдруг посреди ночи в вагоне справа и слева от нас показались языки пламени: от искры плохо смазанных осей загорелась солома, торчавшая из щелей пола. Ветер, производимый движением поезда, раздувал пламя. Жар становился удушающим. Одни пассажиры кричали от страха, другие, упав на колени, молились. Моя мать бросилась к брату и сорвала с воротника его матросской курточки маленький свисток. Я как сейчас вижу ее: надув щеки, с расширенными от ужаса глазами она из всех сил дует в маленький детский свисток. Грохот разрываемого воздуха и лязг железа заглушил этот жалобный призыв о помощи. Но случилось чудо – поезд остановился у какого-то переезда, и мы, прорвавшись сквозь завесу дыма, выпрыгнули из вагона на железнодорожное полотно. А впереди нас ждали новые испытания: переход через линию фронта, охраняемую красными, ночное бегство на телеге, патруль прусских уланов, при свете луны преградивший нам путь, и наконец прибытие в немецкий карантинный лагерь, где все мы заболели испанкой. Лежа на жалких койках, отгоняя руками сновавших между соломенными тюфяками крыс, мы боролись с голодом, истощением, с лихорадкой. Лекарств не было. Каждый день в бараке умирали больные, и те, кто еще держался на ногах, выносили трупы. Крестьянка, нанятая немцами для черной работы, раздобыла моей матери водку: по ее словам, лучшее средство от заразы. Может быть, действительно именно алкоголь спас тогда всех нас. Выпутавшись на этот раз, мы с грехом пополам продолжали путь в Харьков, где нашли отца. Мать, совершенно обессиленная, передала ему бразды правления. Дальнейшее путается у меня в голове. Какая-то неразбериха из верст и городов. Вновь я ясно вижу нас на набережной причала в Царицыне (позже Сталинград, в настоящее время Волгоград). Красная Армия окружала город, а на последнем пароходе, готовившемся отчалить и плыть вниз по Волге, не было свободных мест. Наше положение казалось отчаянным. Отец кинулся на поиски капитана, чтобы умолять его взять нас на борт. Когда он его нашел, они бросились друг другу в объятия: капитан оказался его однокашником! Вот таких счастливых совпадений, которые нередко, вопреки всякому правдоподобию, преподносит нам жизнь, как чумы должен остерегаться любой романист.

Капитан, добрый малый, уступил нам свою каюту. Мы набились в нее, и пароход отчалил.

В другой раз мы были вытеснены в море в мае 1919 года, когда войска большевиков вступали в Крым. Это происходило в Ялте. Вновь Провидение ниспослало нам корабль – углевоз под названием «Ризей», последнее, уже готовое к отплытию судно. Понять поспешность нашего бегства можно, лишь зная, с какой чудовищной жестокостью велась в России Гражданская война. Годом раньше в Екатеринбурге большевики расстреляли императорскую семью. Когда какая-нибудь партия захватывала город, начинались – по простому доносу соседей – расстрелы жителей, чьи политические убеждения казались подозрительными. С огромным трудом отец получил места для себя и семьи на этом старом суденышке. Пассажиры скучились в трюме. Сидя на своем багаже, вглядываясь в темноту, глотая угольную пыль, они ждали как избавления первого поворота винта. Но едва судно вышло в открытое море, как разразилась ужасная буря – одна из тех, что бушуют иногда на Черном море. В темноте перегревшегося трюма беженцы, которых швыряло из стороны в сторону среди чемоданов и узлов, натыкались друг на друга, стонали, не в силах удержать приступы рвоты. Из рук в руки передавали тазы, но часто бывало уже поздно. Зловоние усиливало приступы морской болезни. Мужчины, женщины, дети, промышленники, статские советники, актрисы, банкиры, матери семейств – все буквально плавали в нечистотах. Ни чины, ни богатства не спасали на этом корабле отчаяния. Вдруг распространяется слух, что команда взбунтовалась. В трюм спускается делегат от матросов и объявляет «белой сволочи», что судно поворачивает обратно, высадит пассажиров-предателей в Севастополе и выдаст их большевикам. От ужаса пассажиры забывают о морской болезни. В темноте под рокот волн, глухо ударяющих в боковую обшивку, обсуждают положение. Одна надежда: подкупить комитет бунтовщиков. Устраивают складчину, собирают крупную сумму. Матросы, посовещавшись, соглашаются на сделку. «Ризей» продолжает путь в Новороссийск.

Из Новороссийска мы поехали поездом в Кисловодск, модный водный курорт на Кавказе, где у моих родителей был дом. Весь этот район пока еще занимали белые. Наконец-то мы как будто нашли надежное убежище! Горный воздух, прекрасный парк, покрытые снегом вершины гор на горизонте, курортники, которые прогуливались по аллеям, пили минеральную воду, а по вечерам собирались в ресторанах. Все гостиницы и дачи были переполнены семьями, жаждавшими забыть о пережитом ужасе. Из слов взрослых выходило, что в Гражданской войне вот-вот

произойдет перелом и к Рождеству 1919 года мы вернемся в Москву. Но на город, опровергая оптимистические прогнозы, надвигалась гроза. Теперь шептались о том, что верные царю войска отступали, положение на Кавказе и на Кубани ухудшилось и нужно искать новое место спасения. Мы, дети, вели свою собственную войну. Каждый день, ускользнув из-под надзора гувернантки, мы убегали в глубину сада и, спрятавшись за балюстрадой, нависавшей над дорогой, перебрасывались камнями с уличными мальчишками, проходившими мимо. Мы редко поражали цель, но каждый раз очень воодушевлялись. Внизу атакующие пели «Интернационал», мы отвечали пением «Боже, царя храни»: эти гимны по очереди пели в городе. Территория, безопасная для либералов и монархистов, сокращалась с каждым днем, по частям отвоевываемая большевиками. Как несколькими месяцами раньше в Крыму, так и здесь цены на продукты подскочили, банки, осаждаемые клиентами, отказывали в кредитах, – паника охватила буржуа. И вновь упакованные чемоданы, вокзалы, переполненные богатыми беженцами, теплушки, взятые приступом людьми из лучшего общества, и поезд, который пыхтя ползет по рельсам и вдруг неизвестно почему останавливается в открытом поле… Мы опять вернулись в Новороссийск. И тут я впервые услышал, как мои родители обсуждают возможность покинуть Россию. О, конечно, не навсегда! Самое большее на несколько месяцев. На время, необходимое, чтобы победить большевиков, установить в стране порядок, учредив новый режим: конституционную монархию или либеральную демократию. «Мы вернемся, вернемся!» – повторял мой отец со слезами на глазах. Он добровольно взял на себя руководство эвакуацией гражданских лиц из Новороссийска и, как организатор, должен был уехать последним. Моя мать была в отчаянии от этого рискованного самопожертвования. К тому же формальности все более и более усложнялись. В Новороссийске находилась французская военная миссия. До сих пор у меня перед глазами русский паспорт моих родителей, выданный 14 января 1920 года вице-губернатором черноморского управления и завизированный полковником, командовавшим французской базой в Новороссийске: «Выезд в Константинополь разрешен». Все бумаги в порядке. Отец получил места на последний отправлявшийся из Новороссийска пароход – старый русский пакетбот «Афон». К несчастью, новороссийский порт замерз, дул яростный северо-западный ветер, и ни одно судно не могло сняться с якоря. А большевики приближались. Удастся ли нам ускользнуть и на этот раз? Наконец, в первых числах февраля потеплело. Вся семья беспорядочно и спешно поднялась на борт.

Я помню, что весь корабль был покрыт снегом, белым, легким, нереальным, а со снастей свисали сосульки. И над этим волшебным кораблем, точно сооруженным из кристаллов и сахара, холодным розовым светом сияло солнце. На борту находились только беженцы, счастливые тем, что спасли свою жизнь, и удрученные тем, что покидали Россию. Перед самым отплытием дети высыпали на палубу. Во что играть? Да, черт возьми, как обычно, в войну красных и белых! Распределили роли. Те, кто попал в большевики, заспорили, но в конце концов оба лагеря образовались, и сражение снежками началось. Каждый из моих маленьких товарищей выбрал себе имя какого-нибудь знаменитого военачальника, а мне выпало быть генералом Врангелем. Я побежал к родителям похвастаться этим неожиданным отличием, но они, печально улыбаясь, отослали меня обратно. Пока мы носились по палубе, подражая звукам выстрелов из ружей, пулеметов, самолетов и пушек, пакетбот вышел в открытое море. Между глыбами льда расстилалась изумрудно-зеленая гладь воды. Огромные белые массы, сдвинутые с места движением корабля, медленно поворачивались и постепенно скрывались из глаз. Было очень холодно. Берега России растворялись в тумане. Родители, стоявшие на палубе, выглядели измученными, несчастными, потерянными. Люди вокруг них плакали. Я не понимал причины общей печали. Я слышал, как говорили, что Константинополь для нас только этап и что оттуда мы попытаемся перебраться во Францию. А по словам моей гувернантки, Франция – такой же или почти такой же рай, как Швейцария.

В Константинополе нас ждали новые трудности: местные власти пересылали всех беженцев русского происхождения на остров Кипр и разрешали высадиться в порту Константинополя только беженцам-армянам. Мы же по документам считались русскими подданными армянского происхождения. Следовало нас принять или нет? Усложняло ситуацию и то, что все армянские фамилии оканчиваются на «ян», окончание же нашей фамилии на «ов» делало ее совершенно русской. Отец, вконец измученный этой путаницей, согласился на уловку. Дипломатический представитель новой армянской республики в Константинополе выдал нам 19 марта 1920 года письмо, удостоверявшее, что предъявитель его, «известный в России под фамилией Тарасов», в действительности носит фамилию Торосян. «Торосян» не была нашей настоящей фамилией, но навсегда срослась с фамилией Тарасов, несмотря на все усилия, которые мы потом предпринимали, чтобы от нее избавиться. Как бы там ни было, под новой фамилией мы смогли ступить на твердую землю. Но в

Константинополе мы почти ничего не видели – наши мечты были устремлены к Парижу. На итальянском пароходе мы приплыли в Венецию. Погода была немного ветреная. Мы сели в поезд, направлявшийся к французской границе.

– *Чувствовали ли вы себя чужим во Франции?*

– В очень малой степени. Как я вам говорил, одновременно с русским я выучил благодаря моей гувернантке и французский язык. Впрочем, мой французский был слишком книжным. Например я говорил: plait-il?[8] вместо: comment?[9] В России ребенком я читал примерно те же книги, что и маленькие французы. В моей голове «Сонины проказы», «Дьяволенок», «Дурочка» мирно соседствовали с «Бабой Ягой», и «Коньком-Горбунком». Словом, уже с восьми лет я был прекрасно подготовлен к проникновению во французскую среду. Это проникновение приносило мне и своеобразный отдых. Мы никуда больше не бежали. Мы распаковали чемоданы. Надолго ли? В Париже родители сняли меблированную квартиру на улице Бель-Фей в шестнадцатом округе и послали меня в десятый класс лицея Жансон де Сайи. Это был мой первый школьный опыт. До сих пор я рос с братом и сестрой, которые были старше меня, и теперь открывал, как упоительны игры со сверстниками. В довершение удачи случилось так, что в Париже на одной лестничной площадке с нами поселилась семья русских эмигрантов Былининых. С их сыном Володей я познакомился на пароходе, на котором мы плыли в Константинополь. Мы обнялись и поклялись друг другу в вечной дружбе. Он страстно любил чтение и оловянных солдатиков – я разделял эти пристрастия. Мои родители всеми способами старались забыться и заглушить тоску по родине. Почти каждый вечер они исчезали из дому, встречались с друзьями, возвращались поздно и утром забрасывали меня разными аксессуарами для котильона. Наряженный, словно деревянный манекен, в платья из мягких тканей, в шляпы из гофрированной бумаги, я восхищался звездами из мишуры, упавшими с ночного неба. Я представлял себе безумные пиршества, где отец и мать упивались музыкой и шампанским. Но с каждым месяцем надежда на возвращение в Россию слабела, и вскоре они отказались от вечерних отлучек, доставлявших им вначале такую радость. Жизнь в Париже стоила дорого, наши сбережения быстро таяли, драгоценности продавались плохо. Приходилось во всем себя ограничивать. Неожиданно я узнал, что мы едем в Германию и будем жить в Висбадене, городе в Рейнской области, по условиям перемирия 1918 года оккупированной французскими войсками. Говорили, что в Висбадене жизнь для тех, кто имел франки, твердую валюту,

была очень дешевой. Многие русские эмигранты уже убедились в этом на опыте. Прощай, улица Бель-Фей, прощай, лицей Жансон де Сайи, прощайте, мои первые школьные друзья! Вся наша семья, включая бабушку и гувернантку, снова впопыхах складывала багаж.

В Висбадене меня записали во французскую школу, а мой брат каждое утро на трамвае добирался до французского лицея в Майенсе. Марка обесценивалась стремительно, и мать ходила за покупками с небольшим чемоданчиком, набитым банкнотами. Отец ездил из Германии во Францию и обратно, тщетно пытаясь начать какое-нибудь дело, которое позволило бы нам с большей уверенностью смотреть в будущее. Что до меня, то я переживал странное состояние из-за этой повторной отправки на чужбину. Мне казалось, что я вторично переменил родину. В Париже я чувствовал себя русским, а в Висбадене вдруг открыл, что я француз. Для маленьких немцев на улице, видевших, что я выхожу из французской школы, я был ненавистным захватчиком, оккупантом. Я носил баскский берет и, проходя мимо них, напрасно притворялся, что не боюсь насмешек. Они называли меня Schwein Franzose.[10] Как-то в Париже консьержка, разозлившись на меня за какой-то мелкий проступок, проворчала мне вслед: «Грязный маленький иностранец!» В Висбадене мой одноклассник, сын офицера французских оккупационных войск, крикнул мне на перемене: «Русские бросили союзников во время войны! Они подписали мир с Германией! Они предатели! Мой папа так сказал». Я пытался объяснить, что эти русские – большевики, а я – «белый». Он не слушал. Мы подрались. Я потерпел поражение. Это не помешало мне гордиться победой Франции над Германией. Переполненный новым патриотизмом, я каждое воскресенье ходил с гувернанткой смотреть смену караула. На главной площади маршировали с фанфарами и знаменами французы, одетые в бледно-голубые мундиры. Звуки песни «Сомбра и Мез» потрясали меня до глубины души. Едва я привык к новой жизни, как отец по каким-то неизвестным мне причинам решил снова переехать в Париж.

Мы устроились в меблированной квартире в Нейи-сюр-Сен на бульваре Инкерман как раз напротив лицея Пастера, и, разумеется, в этот лицей записали меня и моего брата. Я поступил в шестой класс. Частые перемены стран, обстановки и педагогических систем отнюдь не привили мне привычки к регулярным школьным занятиям. Латынь особенно приводила меня в содрогание. Когда меня вызывали, я отвечал урок по учебнику, раскрытому на спине впереди сидящего мальчика. Однажды преподаватель это заметил, вскочил, схватил книгу и

бросил мне со злорадством: «Я счастлив, что ученик, способный на жульничество, не француз!» Я принял этот попрек как пощечину и проглотил слезы. Одноклассники хихикали вокруг меня. Мучимый стыдом, яростью и сознанием безнадежности моего одиночества, я поклялся в следующем году переломить ситуацию. И действительно, в пятом классе, где латынь уже не проходили, мой вкус к занятиям возрос и я догнал тщеславный и раздираемый соперничеством маленький клан тех, кого принято называть хорошими учениками.

– Какой в это время была жизнь ваших родителей?

– Очень тусклой, очень скромной, очень замкнутой. По мере того как Советская власть в России укреплялась, их надежды на возвращение таяли. В нашем доме поселилась нужда. Пришлось расстаться с моей гувернанткой. Продав последние драгоценности, отец пытался, объединившись с другими эмигрантами, вести разные дела, но его преследовали неудачи. В родной стране этот человек преуспевал во всем, за что бы ни взялся, и даже конкуренты уважали его энергию, прозорливость, порядочность, но на чужой земле предпринимательская деятельность ему не удавалась. В этом новом мире его система связей не срабатывала, доверия к его имени не было, да и коммерческие законы были здесь иными. Дезориентированный, беспомощный из-за недостаточного знания французского языка, он был всего лишь одним из многих тысяч иностранцев. Я помню, что он финансировал несколько немых фильмов, брался за торговлю то маслом, то парфюмерией, то искусственными цветами… Финансовый результат был катастрофичен. Однако постоянные неудачи не подорвали его мужества. Когда-то он перевел часть капитала на свое имя и на имя своего предприятия в разные банки Франции, Англии и Соединенных Штатов. Естественно, он рассчитывал получить вложенные деньги, но Франция и Англия отказались платить, а США выплатили какие-то крохи. Убежденный в своих правах, отец возбудил против этих банков процессы. Некоторые тянутся до сих пор, хотя отца уже нет в живых. Я очень живо вижу, как он вечерами при свете лампы разбирает документы, делает пометки в письмах. Мечта выиграть дела в суде помогала ему переносить гнет повседневной реальности. Он охотно обсуждал перемены, которые возвращенное состояние внесло бы в нашу жизнь. Составлялись списки самых необходимых покупок: одежда, обувь, мебель. Все-таки эта надежда была более оправданна и близка, чем надежда на возвращение в Россию. Но и в этом последнем пункте отец оставался непоколебимым. Он отказывался верить, что его родина навсегда потеряна для него, что придется распрощаться со

своими домами, землями, с могилами предков. Приведя в порядок переписку с адвокатами, он бережно раскрывал особенно дорогие ему папки, набитые утратившими силу документами на его бывшую собственность, устаревшими долговыми расписками, просроченными паспортами, отчетами несуществующих административных советов. В сотый раз он перечитывал и заново сортировал эти бумаги, напоминавшие ему о его былом процветании. Он составлял списки недвижимости, которой когда-то владел. Он производил перепись кредиторов. Он растравлял рану, вороша прошлое, но этим прошлым он оправдывал себя в собственных глазах. Еще острее я чувствовал разрыв между миром, в котором мы жили, и миром, который покинули, на примере моей бабушки. Перипетии бегства, разнообразие стран, которые мы проехали, время, прошедшее после нашего бегства, не повлияли на нее. Прожитые годы затуманили ее сознание, и она думала, что по-прежнему живет в России. На прогулке она спрашивала дорогу по-русски или по-черкесски и сердилась, что прохожие не понимают ее. Вернувшись домой, она рассказывала нам, как оживленно на улицах Москвы. Она называла Сену Москвой-рекой и считала не на франки, а на рубли. Увидев как-то в «Иллюстрации» портрет президента республики, она приняла его за царя. Исподтишка я смеялся над бессвязностью ее мыслей, но к моей иронии, кажется, примешивалась грусть и даже уважение.

Между тем мы снова переехали, но не покинули район Нейи. На этот раз мы сняли квартиру без обстановки на авеню Сент-Фуа. По недорогой цене родители приобрели кровати, стулья, столы, шкафы. Но в прихожей по-прежнему стояли неизбежные для эмигрантов чемоданы. Жилье стоило дорого. Отец был занят от случая к случаю, да и то в делах, затеянных им самим, одно за другим терпевших крах. Денег не было. Малейшая починка обуви вырастала в острейшую проблему. Мы ходили пешком, чтобы сэкономить на билетах в метро и на автобус. Обучение тогда было платное, и каждый триместр нужно было оплачивать счета из лицея. Управляющий, недовольный задержкой в расчетах, слал предупреждение за предупреждением. Я постоянно боялся, что меня отчислят. Мне казалось, что надзиратель недружелюбно смотрит на меня, потому что мои родители бедны. Сколько жертв они принесли, если, несмотря ни на какие трудности, дали возможность моему брату и мне продолжать образование? Это был период вареной говядины и лапши. Меню было урезанным, но аппетит волчьим, и в столовой под висячей лампой царила юношеская веселость. Посуду мыли всей семьей. Затем мать, освободив стол, раскладывала на нем свою штопку. Сидя перед

грудой требующих починки носков, она сетовала, что «ее мужчины» слишком быстро их изнашивают. Но при этом глаза ее светились любовью. Держа в руке иголку, она быстрым движением вытягивала нитку, и я с восхищением наблюдал, как на поверхности деревянного яйца, на которое был натянут носок, образуется маленькая решеточка. Кроме того, мать мастерила шляпы для дам-эмигранток. Безглазые деревянные болванки вдруг зацветали необыкновенными дамскими шляпками из разных цветов фетра, тафты, бархата. На ткань нашивались цветные шнуры и ленты. Мать кроила, гладила, прикалывала, моделировала, наводила глянец, шила, ее пальцы проворно работали, глаза горели вдохновением. Образцы шляп она брала из журналов мод, но отделывала их по своему вкусу. Клиентками были ее подруги, и во время примерок она угощала их чаем. Они уходили, украшенные шедевром, но были они не богаче нас, и я подозреваю, что они далеко не всегда оплачивали заказы. Во всяком случае, через некоторое время визиты их стали редки, «ателье» захирело, и мать запрятала шляпные болванки в шкаф. Искусство не было совсем изгнано из нашего дома: моя сестра занималась на курсах классического танца. Я слышал, как она увлеченно рассуждала о «поддержках», «фуэте», «арабесках», «пируэтах». Целыми часами она упражнялась перед зеркалом, держась за спинку стула. Меня не трогали ни ее старания, ни изящество ее движений. Я – мальчик, думал я, и могу строго относиться ко всему этому девчачьему жеманству. Я ненавидел балетные туфли, пачки, музыку – все это оснащение, предназначенное для обольщения незатейливого зрителя и скрывавшее пот и тяжелое дыхание балерины. Но как только она прекращала отрабатывать свою грацию, она, к моей радости, снова становилась старшей сестрой, которую я любил. Она прекрасно рисовала, обожала русских поэтов и заражала меня своей увлеченностью. Какого дьявола, спрашивал я себя, она так упорствует в своем желании стать балериной? Я был очень удивлен, когда ее пригласили в русскую театральную труппу. Отец встречал ее после представления. Она приносила немного денег, помогавших нам дотянуть до конца месяца, и я завидовал тому, что она уже зарабатывает на жизнь – на нашу общую жизнь. Когда же и я смогу помогать семье? Занятиям в лицее, казалось, не будет конца! Надолго уехал учиться и мой брат. Он хотел стать инженером: его увлекали точные науки. Одна сцена всплывает в моей памяти. Я не могу припомнить ее дату. Мой брат готовился к какому-то экзамену или конкурсу. У нас была общая спальня. Я спал, а он допоздна работал. Посреди ночи я проснулся. Все лампы горели. Брат, растрепанный, с напряженным лицом, с

красными глазами стоял перед доской и выстраивал на ней бесконечную цепочку уравнений. Скрипел мел, «х» сменялись «у». Поздний час, тишина, это одинокое бдение, загадочные белые иероглифы, возникавшие на серо-черной поверхности аспидной доски, – все создавало впечатление нереальности происходящего. Время от времени брат выпивал глоток черного кофе и вновь поворачивался к доске. Я, осиливший лишь четыре простейших арифметических действия, ошеломленно наблюдал работу ума в области высшей абстракции. Я был уверен, что моего брата с его настойчивостью ждет великое будущее. А я, на что я могу надеяться в жизни? Я очень люблю брата, хотя мы с ним такие разные. Я знаю, что он питает ко мне, как к младшему, снисходительную и покровительственную нежность. Нередко он помогает мне, когда я томлюсь над заданием по математике, но напрасно он объясняет мне решение задачи: я едва понимаю его. Я скучаю среди цифр, а ему они доставляют невыразимое наслаждение. А я, чуть что, впадаю в глубокую мечтательность…

– И в этих мечтаниях вы чувствовали себя французом или русским?

– В зависимости от обстоятельств. По правде говоря, я менял кожу сообразно тому месту, где находился. В лицее, в окружении товарищей, говоря с ними на их языке, играя в их игры, я чувствовал себя французом. И все-таки, стоило мне хоть немного отвлечься, я ощущал между ними и собой неуловимую разницу. Место рождения наложило на меня отпечаток, и мое происхождение одновременно и стесняло, и одушевляло меня. Я то стыдился не быть «как другие», то этим гордился: мои товарищи не меняли страну, когда уходили из лицея и возвращались домой. Я же, придя домой, покидал Францию и переселялся в Россию. Полдня я жил в Париже, полдня в Москве. Долгое время я так и двигался вперед, хромая: одна нога на твердой французской земле, другая на русских облаках. За нашим семейным столом мы говорили по-русски, Париж, лицей, одноклассники оставались за стенами дома, удалялись и исчезали в пустоте. Наше жилище на авеню Сент-Фуа повисало вне пространства и времени. Нередко для нас, детей, отец и мать воскрешали в памяти воспоминания о России. Слушая их рассказы, я представлял себе страну грез, где юность лучезарна, старость не знает болезней, богатство дается легко и где повсюду лежит чистый белый снег. В их рассказах мне всегда не хватало подробностей, и мать в сотый раз рассказывала мне о годах, проведенных в пансионе в Екатеринодаре, о гимназических балах, о встрече с моим отцом, о роскошной свадьбе в Армавире. А отец вполголоса описывал, как черкесы ловят лошадей, или снежную

бурю, которая застала его в санях по дороге в Астрахань. Эти волнующие истории были как бы продолжением сказок моего раннего детства, но они имели то преимущество, что были взяты из жизни. К сказке о «Коньке-Горбунке» прибавлялись сказки о моей утраченной родине, а я был Мальчиком-с-пальчик, надевшим семимильные сапоги. После таких бесед, когда голова гудит от мыслей, а душа полна изумления, как сохранить душевное равновесие, вновь оказавшись в лицее среди товарищей, которые родились в Париже, или в Бриве, или в Мелене, и бабушка которых, уж конечно, не говорила по-черкесски? Стоило преподавателю на уроке упомянуть Россию, как весь класс оборачивался ко мне и разглядывал меня, словно зебру в зоопарке. На меня показывали пальцем, пересмеивались, а мне это и льстило, и внушало беспокойство. Если же говорили, что Волга – самая большая река в Европе, я и вовсе начинал важничать. Помню мое замешательство, когда впервые один из моих товарищей пригласил меня позавтракать в кругу его семьи. Мне было тогда лет двенадцать, и я совсем не знал французских обычаев. Внезапно я очутился в удивительном мире. У входа нет чемоданов, на стенах картины, повсюду прекрасная мебель, ковры – достаток, от которого дух захватывает. Первый сюрприз за завтраком: в самом начале подали дыню, а у нас дыня считалась фруктом и подавалась на десерт. Зато сыр, который у нас дома был закуской, здесь завершал еду. Не переставая жевать, держа спину прямо, а локти прижатыми к бокам, как меня учила гувернантка, я отвечал на вопросы взрослых. Они расспрашивали меня о положении моих родителей в России, о нашем бегстве, о том, чем занимается мой отец теперь. Малиновый от смущения, с сильно бьющимся сердцем, я не осмелился рассказать о нашей нищете. Мне казалось, что мать моего товарища заметила заплатки на рукавах моей куртки и замазанные чернилами трещины на башмаках. Я вздохнул свободно, когда разговор перешел на другие темы. Встав из-за стола, я подошел к хозяйке дома, щелкнул каблуками, поцеловал ей руку и, по-русскому обычаю, поблагодарил за угощение. По удивлению, выразившемуся на ее лице, я понял, что этот обычай не в ходу во Франции и я совершил оплошность. Я готов был провалиться сквозь землю, и понадобилась вся любезность моего товарища, чтобы я оправился от своего промаха.

– То различие между вами и маленькими французами вашего возраста, о котором вы говорили, не побуждало ли вас искать друзей в русской эмигрантской среде?

– Безусловно, нет. Хотя я чувствовал себя нередко во Франции чужим, потерявшим почву под ногами, я хотел иметь

друзей среди французов: среди них, несмотря на все то, что нас разделяло, я чувствовал себя раскованно. У моего брата и сестры, напротив, были главным образом русские друзья. Дело в возрасте, вероятно. Живя дольше меня в России, они в изгнании больше нуждались в контактах с соотечественниками. Мои родители в Париже практически не общались с французами. Однако с годами они все меньше и меньше верили в возможность политических перемен в России. Я догадывался о глубине их разочарования и страдал, что не могу его разделить. Ибо по мере того, как гибли их мечты, мои мечты осуществлялись. Они, страдая от ностальгии, только и думали о том, как бы уехать, а я, увлеченный новыми французскими друзьями, только и думал о том, как бы остаться. Их счастье для меня обернулось бы несчастьем. Мы были уже на разных берегах. Когда я пытаюсь проанализировать процесс моей *акклиматизации* во Франции, я убеждаюсь, что превращение происходило во мне постепенно, незаметно, неосознанно. Изо дня в день через моих друзей, через книги, через сам воздух, которым я дышал, я впитывал культуру, воспринять и полюбить которую я с самого начала был расположен. Выбирая друзей, я превращался во француза, читая Виктора Гюго или Расина, я превращался во француза. То Франция, то Россия по очереди брали во мне верх, подобно морским приливам и отливам. Затем я достиг своего рода равновесия двух этих миров, когда их расплывчатые границы окончательно стерлись. О переходе из одной национальности в другую свидетельствует признак, который, по-моему, не обманывает. Пока юный эмигрант восхищается памятниками, пейзажами, небом Франции с мыслью: «Как прекрасна их страна!», он еще не перешел границу. Но как только он почувствует гордость тем, что его окружает, как только он поймает себя на мысли: «Как прекрасна наша страна!», это значит, что он, сам того не подозревая, переменил лагерь. Есть и еще один очень тонкий признак: ребенок, который долго видел сны на родном языке и который вдруг видит сон на французском, готов, я думаю, слиться со своей второй родиной.

– *А сейчас вы видите сны на французском языке?*

– Да, конечно. Однако, мне кажется, если бы кто-нибудь разбудил меня глубокой ночью ударом по голове, я закричал бы «Ай!» с русским акцентом. В то время как я таким образом офранцуживался, родители продолжали жить, замкнувшись в узком эмигрантском кругу. Они читали русские газеты. Они воспринимали мир как русские. Большинству моих тетушек и дядюшек удалось бежать из России и устроиться в Париже. Все они образовали тесный и теплый круг. Встречались семьями.

Разумеется, не было и речи о том, чтобы уехать из Парижа на летние каникулы. В сильную жару мы, праздная и умирающая от жажды молодежь, ходили гулять в Булонский лес. Денег у нас не было, и мы, заплатив за полкружки пива, рассаживались на траве за павильоном Арменонвиль и слушали музыку невидимого оркестра, игравшего для любимцев фортуны. Или же, укрывшись в комнате с запертыми ставнями, мечтали в душном сумраке со стаканом свежей воды в руке под невнятный шепот волн, ласкавших песчаный берег. Больше всего радости мне доставляли визиты моего дяди Константина. Это был всегда улыбающийся красивый мужчина с голубыми глазами. Вечно нуждавшийся, но ленивый и беспечный, он никогда не жаловался на судьбу. Из праздности он создал себе религию. Он был неистощим на анекдоты, которые собирал по всему городу и потом пересказывал с апломбом, достойным шансонье. Едва он появлялся с неизменной бутылкой под мышкой («Я прихватил мои припасы», – говорил он), лица отца и матери прояснялись, заботы улетали в окно, жизнь превращалась в спектакль. Его говорливость равнялась его безалаберности. У него была сотня верных способов разбогатеть, но ни один он не доводил до конца. Так, он собирался то наладить домашнее приготовление йогурта, то продавать ставки[11] проигравшимся игрокам, то выпускать новую марку духов. Его великолепные проекты лопались, как мыльные пузыри, и их автор забывал их столь же быстро, как и придумывал. Расписав пути к будущему успеху, он занимал у отца несколько франков. Главным источником его дохода было участие в массовках в кино. За благородные манеры и преждевременно поседевшие волосы его приглашали изображать гостей из высшего общества, прелатов, послов. Я и сам много раз снимался в массовках, чтобы заработать несколько су. Играл я и в рекламных фильмах. Но по разнообразию деятельности в этой области я с моим дядюшкой, разумеется, и не думал равняться.

– Не правда ли, это он вдохновил вас на создание образа мифомана Гийома в вашем первом романе «Обманчивый свет»?

– Да. Я сделал его отцом рассказчика, не имеющего ничего общего с моим отцом, который был, как я вам рассказывал, сама уравновешенность, сдержанность и порядочность.

– В каком возрасте вы почувствовали потребность писать?

– Мне кажется, лет десяти. Я очень тогда дружил с Володей Былининым, а его мать писала по-русски приключенческие романы. Воодушевленные ее примером, мы с Володей решили тоже писать романы, но по-французски. Наше единственное произведение приводило нас в восторг своим названием «Сын сатрапа» (знали ли мы в точности, кто такой сатрап?) и

закончилось на первой же главе. Но семя было посеяно, и желание сочинять и рассказывать истории меня уже не оставляло. Играя в солдатиков, я посылал их в сражения не анонимно, нет, я придумывал каждому имя, внешность, характер и, ввергая в запутанные приключения, комментировал их перипетии вслух – для воображаемой публики. Позже, в шестом классе, охваченный желанием и других посвятить в свои вымыслы, я основал газету. Единственный ее экземпляр я целиком сам сочинил и написал и за одно су давал читать товарищам. Главным же моим творением был роман с продолжением «Героическая миссия Жана Мувеля», который так никогда и не был закончен, и сейчас я затрудняюсь сказать, кто был этот Жан Мувель и в чем состояла его «героическая миссия».

В том возрасте меня очень влекли журнальчики вроде «Неустрашимого» или «Прекрасных картинок», и собрать их полный комплект было моей заветной мечтой. Как-то родители послали меня за покупками. На несколько су из денег, которые мне дали, я купил иллюстрированную брошюру под завораживающим названием «Кондор из Сиерры». Спрятав свое приобретение под рубашку, я с невинным видом предстал перед матерью и как ни в чем не бывало отдал ей сдачу, увеличив цену покупок. В свою комнату я вернулся, горя желанием немедленно погрузиться в чтение, но – о ужас! Книжка исчезла. Мать уже звала меня из кухни. Я пошел к ней, коленки у меня дрожали. В кухне на полу распростерся «Кондор из Сиерры». Он выскользнул из тайника, когда я вдохновенно лгал. Потрясенный, я испытал муки совести столь сильные, что почувствовал себя низведенным до уровня самых гнусных преступников. Я признал божью кару в столь быстром разоблачении обмана и, простершись перед иконой, чистосердечно покаялся, обливаясь слезами. «Кондора из Сиерры» у меня отобрали. Я утешился тем, что пообещал себе сам когда-нибудь написать историю о приключениях разбойника с таким именем. Но вот случай для этого мне все еще не представился.

В четвертом классе моя склонность к литературе нашла поддержку у преподавателя французского языка, человека широкого ума. Однажды он объявил, что раз в неделю мы будем писать сочинение на свободную тему: это должна быть какая-нибудь взятая из жизни или придуманная история. Я выбрал историю из жизни и в меру своих сил рассказал о нескольких эпизодах нашего бегства из России: пожар в вагоне, бунт на корабле, испанка в лагере беженцев… Товарищи по классу сочли мой рассказ вымыслом, один лишь преподаватель с доверием отнесся к моей неумелой попытке передать жизненную правду. Я

был ему так признателен, что удвоил усердие в занятиях. Тем временем я открыл для себя мир поэзии. Плененный мелодичным звучанием рифм, я полагал, что никогда больше не снизойду до презренной прозы. На следующий год, уже в третьем классе, я даже решил все задания по французскому выполнять в стихах. Французский язык у нас вел прекрасный романист и историк Огюст Бейи. Он мог бы приостановить этот поток лиризма, но, напротив, поощрял его. Какой бы ни была тема, я неизменно излагал ее в тяжеловесных подражаниях александрийскому стиху, и Огюст Бейи с неизменным терпением их поправлял. Словарь рифм стал моей любимой книгой. Я жил в атмосфере, наполненной музыкой слов. Воображал себя Виктором Гюго на его скале. Человек шесть одноклассников разделяли мою страсть к литературе, и мы образовали небольшой кружок – настоящую «академию». Мы демонстрировали друг другу плоды нашего творчества и с невозмутимой серьезностью обсуждали их достоинства. Потом нам пришла идея основать журнал под названием «Хаос». Самые состоятельные из родителей, официально подписавшиеся на журнал, организовали необходимый для издания денежный фонд. С большим трудом удалось выпустить шесть номеров «Хаоса». Они содержали поровну прозу и поэзию. Разумеется, мое сотрудничество в журнале ограничивалось одной поэзией, то эпической, то шутливой, – я не пренебрегал ни одним жанром. Огюст Бейи, забавлявшийся нашим пылким желанием овладеть пером, дал в журнал два-три стихотворения. Он только что опубликовал роман «Неаполь пламенных поцелуев». Тайком я прочел книгу и был ошеломлен, обнаружив в ней весьма смелые сцены. С этого момента я стал смотреть на нашего преподавателя другими глазами. Мне казалось невероятным, что один и тот же человек со строгим видом восседал за кафедрой у черной доски и придумал столько чувственных излишеств. Лишь через некоторое время я понял: чтобы описать убийство в романе, вовсе не обязательно самому совершить его. Как бы там ни было, Огюст Бейи научил нас любить классиков. Он великолепно их читал, Расин в его исполнении звучал как современный нам автор.

– Думали ли вы уже тогда стать писателем, как ваш преподаватель?

– И да и нет. Я колебался. Сомневался в себе. В зависимости от расположения духа хотел быть то писателем, то художником, то актером. С самого раннего детства меня влекло к рисованию, к живописи. Каждое посещение Лувра воспламеняло меня, как добрый стакан вина. Дома, вернувшись из музея, я перерисовывал с почтовых открыток «Источник» Энгра, «Се человек» Гвидо Рени,

«Цыганку» Франса Хальса. Сам толком не знаю почему, но я делал эти копии пастелью. Глядя в зеркало, я рисовал и самого себя: со сжатыми губами, сдвинутыми бровями. Я, несомненно, считал, что отмечен роком, как часто думают подростки, ищущие свой жизненный путь. Я давно не пишу маслом и только иногда рисую, но в глубине души всегда тоскую по живописи и рисованию. И нередко мечтаю о ни с чем не сравнимом упоении, которое дает работа красками. Испытываешь физическое наслаждение от соприкосновения кисти с холстом, от самого наложения на холст краски, старательного и точного. Подобного наслаждения совершенно лишен писатель, водящий пером по белому листу бумаги. Труд писателя абстрактен, труд художника конкретен. Писательство поглощает все мое время, но, может быть, однажды я вновь примусь пачкать холст и еще раз переживу эту сокровенную радость – держать в руках кисти, перебирать тюбики с красками, составлять палитру.

– А профессия актера?

– В ранней юности я думал и о ней, но менее серьезно. По сути дела, сцена привлекала меня лишь в той мере, в какой она позволяла мне быть другим. Свободнее всего я чувствовал себя в ролях, наиболее далеких от моего истинного характера. Потребность в маске, порождавшаяся, несомненно, застенчивостью. Вместе с моим однокашником, Жаном Шапира, влюбленным, как и я, в литературу, я сочинил «шестые акты» «Сида», «Ученых женщин», «Британика» – шутливые пародии в стремительной и веселой манере. Мы сыграли эти пьески перед товарищами и родными. Я снискал большой успех в роли Агриппины, не раз вызывая у публики взрывы смеха. Жан Шапира добился успеха в роли Нерона. Неповторимый вечер, оставивший у меня незабываемое впечатление, в котором смешались лихорадочное волнение, чувство товарищества, аплодисменты, свет, запах грима, – впечатление безоблачного счастья. Когда я размышляю об этом, я прихожу к убеждению, что каждому романисту необходимо овладеть ремеслом и актера, и художника. В самом деле, ведь романист должен уметь разрабатывать колорит и компоновать объемы, как художник на полотне, и перевоплощаться в персонажей своей книги, как актер на сцене. В сущности, писатель в одном лице – художник-любитель и актер-неудачник.

– В годы отрочества какими писателями вы восхищались – русскими или французскими классиками?

– И теми и другими, разумеется. Но мои родители справедливо полагали, что великих русских писателей я должен читать в оригинале. Я же тогда бегло говорил по-русски, а читал с

трудом, так как специально всегда учил французский, а не русский язык. Поэтому было решено, что для практики я буду читать вслух в кругу семьи какую-нибудь русскую книгу. Выбор пал на «Войну и мир». Роман этот стал для меня настоящим откровением, он ослепил и навсегда покорил меня.

По вечерам, убрав со стола в столовой посуду, я усаживался под лампой между отцом и матерью и раскрывал книгу на той странице, где мы остановились накануне. Читал я вначале медленно, запинаясь, потом все лучше и лучше, вовлеченный в мир, вскоре ставший мне таким же родным и близким, как и тот, в котором я жил. Тени Наташи, Пьера Безухова, князя Андрея, Николая Ростова, княжны Марьи часто посещали наше скромное парижское жилище. В моем воображении судьбы героев Толстого переплелись с рассказами родителей об их собственной молодости, и Россия «Войны и мира» больше не была для меня Россией только эпохи Наполеона и царя Александра I. Нет, это была вечная Россия, Россия, навсегда утраченная нами и, наверное, простиравшаяся где-то там, далеко, по ту сторону границ… Когда я уставал, отец сменял меня, затем наступала очередь матери, потом нить повествования вновь переходила ко мне. До поздней ночи продолжали мы чтение, чередуясь друг с другом, и я уходил спать, переполненный впечатлениями.

После «Войны и мира» я погрузился в поэзию Пушкина, приводившую меня в восторг строгой музыкой стиха, потом принялся за «Мертвые души» Гоголя, за романы Достоевского, рассказы Чехова. Так прошли передо мной все великие творения русской литературы. Когда я их читал, во мне возникало чувство родственного понимания между ними и мной, гораздо более глубокое, нежели просто ум или критический дух. Вибрация, передававшаяся страницами их книг моему сердцу, была необъяснимым физическим явлением. Я попадал под их власть, не осознавая, как это происходит. Разумеется, одновременно я проглатывал и романы Бальзака, Стендаля, Флобера, Виктора Гюго… И два потока, русский и французский, не сталкивались в моем сознании, а, напротив, соединялись, сливаясь в единое, широкое и мощное, течение. Я страдал, не умея объяснить родителям, почему восхищает меня какая-нибудь непереводимая фраза Флобера, и не умея объяснить моим французским друзьям, почему те или иные строки Пушкина вызывают слезы на моих глазах.

– В ранней юности вы мечтали посвятить себя поэзии. Оставались ли вы по-прежнему верны решению писать только стихи?

– К счастью, нет, ибо мои стихи, между нами говоря, были

ужасны. В первом классе я вернулся к прозе, продолжая время от времени сочинять стихи в духе Верлена. Но и проза казалась мне недоступной. Тогда я нашел неплохой, как я полагал, метод для выработки стиля. Я читал вслух какой-нибудь абзац из Флобера, Стендаля или Сен-Симона, потом записывал его по памяти и, сравнивая с оригиналом, старался понять, почему то, что я написал, так далеко от того, что я прочел. Каждый вечер перед сном я листал малый иллюстрированный словарь Ларусса, стремясь пополнить запас французских слов. Чем богаче будет мой словарь, рассуждал я, тем легче мне будет добиваться точности. Любовь к словам, к словарям и по сей день, несмотря на прошедшие годы, жива во мне, и я, как и прежде, с упоением пробираюсь сквозь дебри примеров и дефиниций.

Итак, я писал небольшие новеллы и рассказы, в меру моих сил оттачивая форму и впадая в уныние оттого, что образцы, которые я себе избрал, по-прежнему остаются недосягаемыми. Первым значительным литературным опытом я обязан моему родственнику Никите Балиеву. Он приехал из России с театром «Летучая мышь», организатором и директором которого был. Спектакли «Летучей мыши» состояли из скетчей, миниатюр, инсценировок русских песен, игрались в красочных декорациях и имели в Париже в 1925–1930 годах огромный успех. Для обновления репертуара и привлечения нового круга зрителей Балиев задумал некоторые скетчи исполнять не по-русски, а по-французски. Прочитав мои стихи, он выбрал меня как переводчика. Загоревшись от такой удачи, я немедленно принялся за работу. Но первые результаты были удручающими: я не учел, что мои французские тексты будут декламировать русские актеры, а ведь некоторые звуки в этих языках не имеют эквивалентов. Так, звука, передаваемого французской буквой «u», не существует в русском языке, ее часто произносят «иу». Русский актер, читавший мое стихотворение, упорно твердил «лё миурмиур диу риуисо».[12] После такой катастрофы Никита Балиев заставил меня переписать все заново, ни разу не употребив гласную «u». Это было великолепным упражнением. Балиев остался доволен действием наложенной на меня кары и вскоре заказал мне либретто оперы-буфф по рассказу Чехова «Контрабас». На этот раз стихи должны были исполнять французские артисты. Анри Соге сочинил чудесную музыку – изящную, зажигательную. Однако плохо подготовленный, с неудачным распределением ролей спектакль уже на генеральной репетиции встретил дурной прием. Забившись в угол ложи, я слушал неодобрительный шум публики и страдал от уязвленной гордости. Несколько свистков и вовсе повергли меня в отчаяние,

тем более сильное, что, уверенный в успехе, я пригласил на представление девушку, за которой тогда ухаживал. Я не осмеливался взглянуть на нее, но, как нередко бывает в жизни, мой провал еще более сблизил нас. «Контрабас» же продержался на сцене всего два дня.

К тому времени я начал писать большой рассказ «Тень».[13] Это дневник человека с неуравновешенной психикой, который считает себя виновным в смерти сестры и охвачен ужасом, вообразив, будто ее призрак слился с его собственной тенью. Ему кажется, что его тень носит юбку и шиньон. Тень ведет независимую жизнь и враждебна ему. Чтобы освободиться, он замышляет убить преследующий его призрак. Но разве можно убить свою тень, не убив и самого себя?

Моими лучшими друзьями были тогда Мишель Моруа и Жан Бассан, оба очень увлеченные литературой, и вести с ними литературные споры было моей самой большой радостью. Целые часы проводили мы, закрывшись в комнате, то осыпая преувеличенными похвалами наших любимых авторов, то ниспровергая раздутую славу других, то придумывая головокружительные планы будущих романов, пьес, поэм… Я прочел им свою новеллу, они пришли от нее в восторг. Мишель показала ее своему отцу, Андре Моруа, и через несколько дней Моруа пригласил меня к себе. Я направлялся к нему со странным чувством, что расстаюсь со своей привычной будничной жизнью, словно проселочная дорога, по которой я давно уже шел, вывела меня, наконец, на широкую оживленную магистраль.

Андре Моруа был тогда на вершине славы. Войдя в его кабинет, я остановился, восхищенный строгостью обстановки, книжными шкафами, полными книг в роскошных переплетах, и, главное, самим хозяином, который, приветливо улыбаясь, протягивал мне руку. Мне было всего девятнадцать лет, я ничего еще не сделал в литературе и не осмеливался поверить, что действительно по какому-то невероятному счастью нахожусь перед автором «Превратностей любви», знаменитым писателем, книги которого издаются десятками тысяч экземпляров. Он был тем, кем я мечтал стать, но нас разделяла пропасть – пропасть, заполненная типографской краской. Онемев от почтительности, я украдкой разглядывал этого замечательного человека и нашел, что он похож на ученого, что он любезен, внимателен и чуток. Чтобы дать мне освоиться, Моруа задал мне несколько вопросов, но они лишь довершили мое смятение. До сих пор я спрашиваю себя, что мог он подумать о краснеющем и заикающемся юнце, не знавшем, куда девать руки, торчащие из слишком коротких рукавов, и в растерянности стоявшем посреди кабинета, где все

было предназначено для визитов совсем другого значения. Моруа сказал, что в моем рассказе есть достоинства, – радость затопила меня, – и посоветовал показать его Жану Полану, возглавлявшему «Новое французское обозрение», или Роберу де Сен-Жан, главному редактору «Еженедельного обозрения».

Сначала я послал рукопись Жану Полану.[14] Вскоре он пригласил меня к себе и с разочарованным видом, вздыхая и отводя глаза, объяснил, что не уверен, привыкнет ли когда-нибудь к моему стилю, а я приспособлю свой стиль к нему, что достоинства моего рассказа столь же велики, как и его недостатки, что достоинства уравновешивают недостатки, но недостатки сводят на нет достоинства и что, может быть, лучше на этом кончить. Обескураженный, я отправил рукопись Роберу де Сен-Жану. Новое ожидание. Потом срочная «пневматичка»: Робер де Сен-Жан назначал мне встречу у себя. В письме не было никакой оценки моей работы, и я заключил, что она ему не понравилась и он просто вызывает меня к себе, чтобы вернуть рукопись. После второго отказа, думал я, самым разумным будет навсегда отказаться от мечты стать писателем. В таком состоянии духа я отправился по приглашению. К моему великому удивлению, я оказался перед молодым человеком, сердечным, страстно влюбленным в литературу, который осыпал меня похвалами и заявил, что опубликует рассказ в «La Revue hebdomadaire»[15] и с нетерпением будет ждать мой первый «настоящий» роман. За несколько секунд перейдя от самого глубокого уныния к самому высокому блаженству, я изумлялся, что два специалиста в области литературы, привыкшие оценивать рукописи, вынесли столь противоположные суждения об одном и том же произведении. Кому же мне верить? Тому, кто воскурил мне фимиам, или тому, кто выставил меня за дверь? Вопрос этот так и остался для меня нерешенным. Но и ни один писатель, надо полагать, не решил бы его.

– На какой стадии была ваша учеба, когда вы закончили «Тень»?

– Я только что сдал экзамен на степень бакалавра философии.

– Много ли вам дало изучение философии?

– Больше, чем я мог бы выразить. Философию у нас вел превосходный преподаватель Дрейфюс-Лефуайе. Он проводил занятия в форме бесед, увлекательных дискуссий; он не поучал нас, а дружески беседовал с нами. Благодаря ему мой внутренний мир очень обогатился, я заинтересовался движениями человеческой души, приобрел привычку все подвергать сомнению, проникать в загадочный мир подсознания. И все это в предельно

короткий срок. Несколько месяцев таких занятий обновляли человека, заражали его сомнениями и беспокойством до конца его дней. Бергсон меня покорил. Фрейд открыл целый мир. Привлекла мое внимание также психопатология. Позднее я прослушал курс лекций Жоржа Дюма в больнице Святой Анны. Герой моего рассказа «Тень» мог быть одним из ее пациентов!

– Какой факультет университета вы предполагали избрать после окончания лицея? Факультет изящной словесности, я полагаю…

– В том-то и дело, что нет. Мне нужно было прежде всего зарабатывать на жизнь, а ученая степень лиценциата по литературе не обеспечивала, как мне представлялось, никакого твердого заработка. А вот степень лиценциата права открывала заманчивые перспективы: адвокатура, административный аппарат… Учиться надо было всего три года. Шел 1930-й. В 1933 году, если все пойдет хорошо, говорил я себе, я сдам выпускные экзамены и смогу наконец помочь родителям. Конечно, ничто не казалось мне более нудным, чем изучение законов, но я приготовился проглотить необходимые мне знания в любом объеме так, как глотают горькую микстуру – «зажав нос». Впрочем, вопреки моим опасениям, некоторые лекции заинтересовали меня философской возвышенностью содержания.

Однако я быстро понял, что должен, не дожидаясь окончания курса, вносить свою долю в семейный бюджет. Наше безденежье граничило с нищетой. Отец бился, влезал в долги, чтобы помочь моему старшему брату получить образование (он готовился к экзамену на степень лиценциата естественных наук для поступления в Высшее электротехническое училище). Сестра была далеко от нас, на гастролях со своей балетной труппой, и денег, которые она присылала, едва хватало на оплату квартиры.

А родители по-прежнему уныло причитали: «Когда мы вернемся в Россию…»; «Когда мы выиграем процесс против американского банка…». Годами – годами! – я наблюдал эту ностальгию, эти вновь пробуждавшиеся мечты, выслушивал грандиозные проекты перед пустой корзиной для продуктов… Нередко отец начинал рассказывать о переменах, которые он произведет в нашем московском доме: кабинет уступит моему брату, расширит сад, рядом с моей комнатой устроит библиотеку… Из милосердия я притворялся, что тоже увлечен этой нездоровой игрой. Но сердце мое сжималось, словно я присутствовал при крушении корабля, под звуки траурной музыки медленно погружавшегося в пучину…

Было совершенно очевидно, что я должен как можно скорее отыскать какой-нибудь источник заработка. Просмотрев

объявления, я нашел место мелкого служащего в бюро по распространению канцелярских товаров. В продолжение многих месяцев в перерывах между занятиями я ходил из дома в дом, предлагая копировальную бумагу и ленты для пишущих машинок. Я по натуре застенчив, и необходимость входить в квартиры к незнакомым людям, отрывать их от дел, навязывать им свой товар, расхваливать его причиняла мне мучительные страдания. Не раз меня грубо выпроваживали, и я оказывался на лестнице, униженный более, чем если бы мне нахлобучили на голову мусорный ящик. Нечасто удавалось мне добыть заказ, да и бывал он так ничтожен, что хозяин обвинял меня в неумении приманивать клиентуру. Мне оставалось лишь признать его правоту. Может быть, именно тогда родилась та внутренняя тревога, которая и по сей день терзает меня. Не отдавая себе в этом отчета, я приходил к заключению, что даже столь блестящее положение, которое занимали мои родители в России, может рухнуть под давлением событий. Для человека такого беспокойного душевного склада, как я, от этих мыслей был всего один шаг до убеждения, что ничто не может быть завоевано навсегда, что счастье изменчиво и самые выдающиеся успехи нередко завершаются катастрофой. В эти годы, полные неуверенности и тревоги, будущее представлялось мне в самых мрачных тонах. Впрочем, все это не мешало мне думать, что у меня, быть может, есть талант. То я видел себя клошаром, то представлял, что «Тень» будет напечатана (но когда?) и принесет мне быстрое признание. Любопытное сочетание в юноше, которым я тогда был, неутихающего сомнения и ослепляющей гордыни. Под влиянием обстоятельств я то воодушевлялся, то сникал. Одним из событий, повергнувшим меня в беспросветное отчаяние, было наложение ареста на наше имущество и его распродажа с торгов. Не знаю в точности, что послужило причиной: не уплатил ли отец налоги или не внес плату за квартиру? Но в одно прекрасное утро в нашей квартире появился судебный исполнитель и принялся описывать мебель. На стене дома приклеили объявление «Распродажа по постановлению суда». С этого дня консьержка открыто выказывала нам уничтожающее презрение, а жильцы дома, встречая нас на лестнице, отводили глаза, словно самый наш вид оскорблял их благопристойность. Мы перестали быть неудачниками, мы стали виновными. Распродажа состоялась прямо в квартире. Оценщик прибыл с группой торговцев, которые, было заметно, отлично знали друг друга. Потрясенный, стоял я между отцом и матерью и наблюдал за растаскиванием нашего жалкого имущества. Торг разгорался. Цифры перелетали из уст в уста. «Кто больше?

Продано!» После двух покупок по совсем низкой цене торговцы разворчались, что их побеспокоили из-за такой малости. Они рыскали по комнатам, шарили по углам, равнодушные к нашему позору. Со сдавленным от волнения горлом следил я, как исчезают то кресло, то комод, то какая-нибудь безделушка, связанные с дорогими мне воспоминаниями, и мое унижение возрастало при виде отца и матери, подавленных, обобранных и все же силящихся сохранить достоинство посреди всей этой подлости. Наконец торговцы ушли. Нам оставили кровати, стол и несколько стульев. Потрясенные, ограбленные, оскорбленные остались мы в пустой квартире. Ярость душила меня. Пример родителей заставил меня овладеть собой. Всякий опыт полезен начинающему писателю, а этот, я чувствовал, обогатил меня, повергнув одновременно в горе и гнев. Я тут же поклялся себе использовать это событие в первом своем романе. Это станет моим ответом злой судьбе, ополчившейся на нас. В некотором роде моя месть. Реакция, конечно, ребяческая, но вместе с тем и профессиональная. Я и в самом деле описал в романе «Обманчивый свет» сцену продажи с торгов на дому, во всех подробностях сходную с той, которая так меня потрясла. Примерно в это же время другое событие морально всколыхнуло меня: убийство президента республики Поля Думера[16] русским эмигрантом Горгуловым. Это бессмысленное преступление, как мне казалось, ударило по всем его соотечественникам. «Рука иностранца повергла в траур всю Францию», – писали газеты. Я был одним из этих иностранцев. Франция, приютившая меня, теперь имела право открыто проявлять ко мне недоверие. Я восхищался поступком Клода Фаррера, который на распродаже книг писателей – участников Первой мировой войны, где произошло покушение, бросился к президенту республики, заслонил его собой и был ранен в руку двумя пулями. Я хотел быть на его месте. Мог ли я предположить, что всего через двадцать семь лет именно мне предстоит занять его кресло во Французской академии и публично произнести ему надгробную хвалу?

После продажи с молотка нашего имущества мы переменили квартиру: покинули Нейи, свидетеля нашего разорения, и укрылись в двух комнатках дома в районе ратуши вблизи площади Наций.

Получив степень лиценциата прав, я оказался на перекрестке нескольких дорог. Какой путь избрать? Так как я должен был как можно быстрее начать помогать семье, то я и мечтать не мог о собственной адвокатской конторе. Известно ведь, что адвокату требуются годы для создания клиентуры. Поэтому я склонялся к

службе в административном аппарате. Жалованье скромное, но зато обеспеченное будущее и возможность писать в свободное от работы время. Изучив объявления о вакансиях, я выбрал должность чиновника в префектуре департамента Сена и стал готовиться выполнять свои обязанности с прилежанием и скукой. Но тут встал вопрос совести. Я мог поступить на службу в государственный административный аппарат, только приняв французское подданство. Дома мы обсуждали этот вопрос. Несомненно, мое решение огорчило родителей, но они не дали мне это почувствовать. Со временем они поняли, что родина недосягаема для них, что они граждане ниоткуда и должны позволить своим детям целиком слиться с усыновившей их страной. Все-таки в конце нашего разговора отец высказал весьма странное соображение: «А если мы когда-нибудь вернемся в Россию, то каким будет там твое положение, если ты станешь французом?» Он все еще не отказался от своей мечты…

Формальности по оформлению перехода во французское подданство были долгими и утомительными. Раз двадцать меня вызывали в различные учреждения, я заполнил не менее тридцати разных анкет. Можно было подумать, что недоброжелательные скрибы задались целью воздвигать все новые и новые преграды между мной и Францией. Может, и новой моей родине я не был нужен? Наконец мне пожаловали французское подданство. Я был горд, словно получил давно желаемое повышение в чине, и пристыжен, словно совершил тайное отступничество. Произошло это в 1933 году. Мне было двадцать два года. Я представил документы в префектуру департамента Сена и был принят на хорошее место. И теперь еще не могу без волнения вспоминать о радости моих родителей, когда они узнали, что я стал служащим. Наконец-то постоянная должность, обеспеченный заработок, гарантированное будущее. Для начала мне назначили что-то около 1200 франков в месяц – сумма, представлявшаяся мне несметным богатством. Мы остались втроем в нашей небольшой квартирке. Мой брат женился и занял прочное положение инженера; специалист по телекоммуникациям, он сделал в своей области блестящую карьеру и делил с нами свой заработок. Сестра обосновалась в Соединенных Штатах. Вскоре она вышла замуж за очаровательного молодого человека, русского по происхождению, и открыла в Нью-Йорке школу классического танца. А я в ожидании дня, когда нужно будет приступить к моим обязанностям в префектуре, продолжал писать. Рассказ «Тень» еще не был опубликован в «La Revue hebdomadaire», но раз сам Робер де Сен-Жан побуждал меня к этому, я с головой ушел в работу над своим первым романом «Обманчивый свет». Я писал

эту книгу с маниакальным пылом, взвешивая каждое слово, произнося вслух фразы, как это делал Флобер, по десять раз переделывая начало и концовку каждой главы. Результаты казались мне неутешительными. Кого заинтересуют эти сцены частной жизни, история ребенка, сердце которого разрывают противоречивые чувства: разочарование, жалость, горе, возмущение, горечь, нежность; история ребенка, слишком умного по сравнению со своим слишком легкомысленным отцом? Одобрение нескольких друзей, Жана Бассана и Мишель Моруа, которым я дал прочесть рукопись, все же не убедило меня в ее достоинствах. Я ждал приговора Робера де Сен-Жана. Он успокоил меня. Это хорошо. Даже замечательно. Роман надо предложить издательству «Плон». Когда я получил положительный ответ издателя, к тому же подкрепленный договором, я почувствовал себя воспарившим под облака. Невероятное стало реальностью. Мой роман опубликуют! Я стану писателем! Я, который вчера еще задавался вопросом, в чем смысл моей жизни. Я подписал договор не читая и стал с нетерпением ждать корректуру. Наконец она прибыла. Впервые в жизни я пережил потрясение, которое испытывает каждый начинающий автор, когда обнаруживает движущийся поток своих мыслей, отлитым в строгие строчки типографского шрифта. То, что совсем недавно было всего лишь пробой пера, рождалось в мучениях и вдохновении, подвергалось правке, доводило до исступления неумелостью, теперь на страницах, вышедших из типографии, обрело определенность и незыблемость. И потом, какое ни с чем не сравнимое упоение видеть свое имя «Лев Тарасов», набранным типографским шрифтом и красующимся на титульном листе! К несчастью, пакет содержал еще и письмо издателя. Он писал, что не в моих интересах выпускать книгу под иностранной фамилией: прочитав на обложке «Лев Тарасов», читатель примет ее за переводную. Настоятельно необходим псевдоним. Признав требование издателя справедливым, я пришел, однако, в отчаяние от этого ультиматума. Мне казалось, что, опубликовав роман под другим именем, я отрекусь от своего авторства. Книга отделится от меня и станет неизвестно чьим произведением. У меня украли половину моей радости. В таком состоянии духа принялся я выбирать псевдоним, переставляя в разных комбинациях буквы моей настоящей фамилии. Я исписал груду бумаги, составлял целые списки фамилий, а когда отдавал свои изобретения на суд друзьям, они заливались безудержным смехом, точно я появился перед ними с наклеенным носом.

Сам того не сознавая, я стремился к тому, чтобы мое новое имя начиналось с буквы «Т», как и прежнее, и у меня выходило:

Тарао, Тарасо, Троа… Я остановился на Труайя. Теперь нужно было получить одобрение Плона. Время не терпело, корректура ждала. Я бросился в телефонную кабину и, вызвав издателя, сообщил ему результаты моих изысканий. Поразмыслив минуту, он одобрил Труайя, но потребовал ради фонетического благозвучия изменить и имя. «Лев Труайя! Тяжело, глухо, – сказал он. – Совершенно не звучит». По его мнению, мне нужно было имя с буквой «i» посередине, чтобы звучность была более четкой. В полной растерянности я назвал первое попавшееся: «Ну, тогда Анри». Он согласился: «Анри Труайя! Неплохо. Ну что ж, пусть будет Анри Труайя». С яростью в сердце я повесил трубку. Вот так телефонная будка стала местом моего второго рождения. Сначала я изменил национальность, затем – имя. Осталось ли еще хоть что-нибудь подлинное во мне? Мои родители, звавшие меня «Лев» со дня моего рождения, с большим трудом называли меня потом Анри. Я сам долго не мог привыкнуть к моему второму «я», и прошло много времени, прежде чем я обратился с просьбой официально изменить мое имя и фамилию. Теперь я по документам – Анри Труайя, но Лев Тарасов по-прежнему живет во мне: сжавшись в комочек, он сладко спит в самых потаенных глубинах моей души.

Но не одни только литературные заботы волновали меня в период создания «Обманчивого света». Мой первый роман был в печати, когда я как призывник второго класса отправился из Парижа в Мец отбывать воинскую повинность в 61-м конно-артиллерийском полку.

– В тот день вы не жалели, что переменили подданство?

– Нет. Там были и свои хорошие стороны. Служба в 61-м полку была трудной для новобранцев. К счастью, вскоре я был переведен во взвод связистов и таким образом избавлен от особенно неприятных нарядов. Когда «Обманчивый свет» вышел из печати, я по-прежнему находился на действительной службе и не испытал счастья видеть свой первый роман в витринах книжных магазинов в день его появления. Первый экземпляр книги я получил в лазарете, где поправлялся после тяжелого гриппа. Мои соседи по палате удивлялись: для них я был загадкой. Большинство солдат, несмотря на мои объяснения, до конца не понимали разницы между писателем и печатником, а старшие по званию смотрели на меня с подозрением.

«Обманчивый свет» был очень благосклонно принят критикой. Никогда я не получал и, бесспорно, никогда не получу столь восторженной прессы, как о моей первой книге. Меня сравнивали с Радиге,[17] называли открытием 1935 года, писали, что мне двадцать три года и я ношу военную форму. Я

подписался на справочно-информационное издание «Аргус» и с изумлением разбирал вырезки из газет и журналов, поступавшие ко мне из далекого Парижа. Несмотря на поток похвал, я не осмеливался верить в свое счастье и наивно задавался вопросом: не вызвано ли это единодушное одобрение добрыми отношениями моего издателя с журналистами. Между тем, получив увольнительную, я нанес визиты некоторым из хваливших меня критиков и, слушая их, убедился, что они и в самом деле оценили мою книжицу. Я утопал в блаженстве и все более и более тяготился военными обязанностями, не позволявшими мне постоянно находиться в Париже и наслаждаться своим триумфом. И вдруг – гром среди ясного неба: я узнаю, что мне присуждена премия *популистского* романа! В тот день я как раз находился в отпуске в Париже и собирался вернуться в Мец. Как был, в своей серо-голубой форме, с кепи на голове, с красным аксельбантом на плече и шерстяной нашивкой на рукаве (меня только что произвели в капралы), я помчался в ресторан Вефур, где заседало жюри. В его состав входили Жюль Ромен, Жорж Дюамель, Робер Кемп, Андре Терив, Габриэль Марсель, Антонин Кулле-Тессье, Робер Бурже-Пайерон, Фредерик Лефевр. Я был в восхищении, увидев вместе за одним столом этих великих писателей, этих искушенных в своем деле журналистов, которым так понравилась моя книга, что они единодушно выбрали ее и теперь встречали меня как своего. Вот они шумно поздравляют меня, усаживают, наливают шампанского. Они, по-видимому, просто в восторге от возможности увенчать литературными лаврами пехотинца. Поистине трудно быть более популистским! Кто-то даже требует, чтобы я спел «Артиллериста из Меца». Признаюсь в смущении, что не знаю слов. Вокруг меня смеются, перебрасываются вопросами, говорят обо всем на свете, кроме литературы… В тот же вечер я уехал в Мец и добрался до своей казармы, покоренный простотой этих замечательных людей и легкостью моего приобщения к их числу. На следующий день в казарму явились фотографы местной прессы. Я приготовился им позировать, но сержант дежурного поста, окинув грозным взглядом мой мундир, отослал меня навести блеск на пуговицы и поправить обмотки. Когда, сгорая от стыда, я вернулся, фотографы были еще на месте. Они в упор обстреляли меня из своих аппаратов. Назавтра в одной из местных газет появилась ироническая заметка по поводу этого инцидента. Тотчас же я оказался под угрозой гауптвахты за «беспорядок, умышленно учиненный в казармах 61-го дивизионного артиллерийского полка». Вмешательство одного умного капитана уладило дело. Меня даже назначили на завидную должность начальника склада

радиоприборов. Радиоприемники нашего полка были приборами прочными: если они выходили из строя, достаточно было их слегка встряхнуть, чтобы они снова заговорили. Благодаря новым обязанностям, у меня появился угол, где можно было выспаться вдали от казарменного шума. В этом загроможденном аппаратурой помещении мне удавалось на скорую руку работать. Перед отъездом в армию я закончил и передал издателю второй роман, «Живорыбный садок», и в казарме урывками правил корректуру. Срок моей службы кончился как раз вовремя – я уехал в Париж и успел подписать корректуру к печати.

– «Живорыбный садок» – этюд о нравах душной провинциальной среды. В центре романа любительница пасьянсов, старая дама госпожа Шаслен; она изводит свою компаньонку мадемуазель Пастиф и питает ревнивую привязанность к ее племяннику Филиппу, двадцатилетнему юноше, безвольному, ленивому и хитрому. Как родилась идея этого романа?

– Мне хотелось показать замкнутый со всех сторон бесцветный мирок, в котором персонажи, тусклые, но взятые крупным планом, жили бы почти так же неподвижно, как рыбы в стоячей воде. У моих родителей была одна знакомая, богатая американка, особа оригинального ума, имевшая слабость к русским эмигрантам, водке и картам. Я отказался от эмигрантов и водки, но сохранил карты. Американка с утра до вечера играла с компаньонкой в белот – моя героиня пристрастилась к пасьянсам и, по обычаю этой американки, отмечала свои удачи на листочках бумаги, которые прикалывала к стене. От американки достались ей также полнота и молочно-белая кожа. Борьба компаньонки и племянника, стремившегося оттеснить свою тетку от госпожи и занять ее место, позволила мне изобрести множество забавных и жалких эпизодов. Я очень развлекался, когда писал «Живорыбный садок».

Критика приняла этот роман далеко не так единодушно, как «Обманчивый свет». Одни хвалили меня за плотность письма и мастерство в обрисовке характеров, другие упрекали за то, что я нахожу удовольствие в изображении отталкивающих персонажей и не допускаю ни малейшего притока воздуха в эту спертую атмосферу. Вкусив единодушного одобрения, не очень-то приятно подвергаться публичному разносу критиков, неуязвимых за столбцами своих газет. Этот поворот так меня удивил, что я сразу признал правоту тех, кто меня ругал, а не тех, кто меня хвалил. Я так и не изменился в этом отношении. Сегодня я тоже легче верю тому, кто меня унижает, чем тому, кто меня превозносит.

Из всех противоречивых откликов, вызванных романом, более всего подняла мой дух хвалебная статья в «La Revue

hebdomadaire», подписанная неким Жаном Давре. Я не был с ним знаком, но безапелляционный тон статьи свидетельствовал, что автор – человек зрелого возраста, солидной культуры и большого жизненного опыта, уверенный в своей правоте и склонный ободрять молодые таланты. Я написал ему, выразив благодарность за статью и заверив в моем «почтительном уважении». С обратной почтой пришел ответ: он приглашал меня нанести ему визит. Я предполагал, что меня ждет прием ученика наставником, и был изумлен, оказавшись перед юношей лет двадцати. «Почтительное уважение» немедленно улетучилось. Взглянув друг на друга, мы принялись хохотать. Так родилась наша дружба. Жан Давре познакомил меня с Клодом Мориаком, и оба они вместе с Мишель Моруа и Жаном Бассаном составили братский кружок, всегда согревавший меня своим дружеским теплом. Каждый в нашем юношеском союзе обладал яркой индивидуальностью. Мишель Моруа (я познакомился с ней через общих знакомых, когда она училась в лицее в Нейи) была девушкой неприметной наружности, замкнутой, задумчивой, с богатым внутренним миром, отражавшимся в ее взгляде. Жан Бассан соединял живой ум с насмешливым скептицизмом, искреннюю скромность с глубокой любовью к литературе и музыке. Клод Мориак отличался характером загадочным, мятущимся, взрывным, он утверждал себя, преодолевая противоречия и сомнения. Жан Давре, великий пожиратель книг, покидал библиотеку только затем, чтобы устремиться в ближайший книжный магазин и собрать там новый урожай томов. Классики и современные авторы, романисты и философы – всех он проглатывал с равным аппетитом. Цельность натуры толкала его то к исступленному восторгу, то к категорическому отрицанию. Нервный, искрящийся, бескомпромиссный, он заражал нас своей убежденностью, заставляя разделять его пристрастия. Все мы писали, все мечтали о будущих успехах. Само собой разумеется, мы показывали друг другу наши рукописи в процессе работы. Полная откровенность была основным законом нашего «клуба». Рьяные приверженцы совершенства, мы никогда не боялись задеть друг друга критикой, если она была справедливой. Все свободное время мы проводили в жарких спорах. Нередко для выработки вкуса мы читали вслух целые страницы наших любимых авторов: Мориака, Моруа, Монтерлана, Колетт, Жида, Жионо, Мартен дю Гара, Валери. У меня был еще один друг, писатель Анри Пуадено, вступивший в литературу в одно время со мной. В этом человеке, бывшем прежде бродягой, меня привлекали дар наблюдательности, необычайное остроумие, горькая ирония. Я

домогался его одобрения, он – моего. Встречи с друзьями вдохновляли меня и помогали переносить унылое однообразие моих служебных обязанностей. По возвращении из армии в октябре 1935 года я получил в префектуре должность служащего, составляющего деловые бумаги, и был назначен в отдел бюджета города Парижа. Окна моего бюро выходили на площадь Ратуши. Я сидел за большим столом, напротив меня – заместительница начальника отдела, особа любезная, но и строгая, которую моя вторая профессия писателя вынуждала постоянно быть начеку. Она догадывалась, что, покончив с отчетом о расходах на освещение города Парижа или о дефиците метрополитена, я, укрывшись за грудами папок с делами, набрасываю свой будущий роман. По моей вине помещения, предназначенные для строгих финансовых расчетов, превращались в место встречи весьма странных персонажей, а священная бумага Управления покрывалась фразами отнюдь не делового содержания. По-моему, мою начальницу это и сердило, и забавляло. Время от времени она невозмутимо напоминала мне о моих обязанностях, положив передо мной новый материал для обработки. Оторвавшись от своих героев, я снова скрепя сердце погружался в подсчеты прихода и расхода по муниципалитету. По странному совпадению, и тут готовили книгу и тоже вступали в переговоры с полиграфистами, но здешняя книга содержала только колонки цифр – это был бюджет города Парижа. Я научился составлять десятистраничные расчеты. Я жонглировал миллионами. Я корпел над сантимами. Иногда мне казалось, что бюджет Парижа изобретен нарочно, чтобы мешать мне всласть помечтать над моими романами. Я тем не менее и не помышлял оставить службу. На что бы мы жили? Мои книги завоевали успех у знатоков, но расходились они плохо. Жить своим пером представлялось мне столь же абсурдным, как зарабатывать средства к существованию танцами на проволоке. В это время у меня возник замысел романа «В натуральную величину». В нем действует отец, вечно нуждающийся актер, и его совсем юный сын. Мальчик приглашен сниматься в кино и обнаруживает такой свежий и яркий талант, что сразу становится звездой. Его успех ускоряет окончательный провал отца.

– В этом романе, как и в «Обманчивом свете», противопоставлены отец и сын. Совпадение ли это?

– Откуда мне знать? Очевидно, наблюдая, с каким достоинством мои родители переносят трудности жизни в чужой стране, я стал особенно чувствительным к взаимоотношениям отца и ребенка. Вероятно, я безотчетно переместил это состояние психологического напряжения на другую почву, в другую

обстановку. Но главное, в этой книге я хотел показать мучительную борьбу между отцовской любовью и профессиональной завистью в душе мужчины и между супружеской любовью и материнской гордостью в душе женщины. Отец из романа «В натуральную величину» – артист, дошедший до крайней степени унижения, – начинает ненавидеть сына, преуспевшего на том поприще, где сам он потерпел поражение, а мать, которой льстит слава ее маленького чуда, отдаляется от мужа, принесшего ей одни лишь разочарования.

Наряду с романами я писал и новеллы, которые печатались в газетах. Стиль новелл был смелый: сверхъестественное соединялось в них с комическим. Сочиняя их, я давал полную волю фантазии. В повседневной рутине моей службы я устраивал своего рода передышки, позволяя себе в новеллах самые сумасбродные выходки. Один из рассказов, «Господин Ситрин», походил скорее на повесть. Это история человека, утратившего память. Каждый вечер специально нанятый «сопровождающий» пересказывает ему все, что он делал в течение дня. Я объединил этот рассказ с моим первым литературным опытом, новеллой «Тень», и под этим названием выпустил в одной книге. Книга получила премию Макса Барту Французской академии. Примерно в это же время я самозабвенно работал над новым романом. Его герой Жерар Фонсек – юноша обостренно интеллектуальный, из-за физической немощи не способный насладиться естественными человеческими радостями. Обнаженный комок нервов, он в самых обычных проявлениях чувства любви видит лишь уродство и низость и страдает, открывая плотское начало в дорогих ему существах.

– Вы описываете героя романа «Паук». Как возникла эта книга?

– Сначала я задумал два совсем разных романа. Один о неприспособленном к жизни человеке, подвергавшемся нестерпимому гнету со стороны окружающих. Другой – о семье, состоящей из женщин: стареющей матери и троих ее дочерей, у каждой из которых свои любовные истории. Внезапно меня озарило: почему бы не дать матери сына, а ее трем дочерям брата – болезненного, коварного и несчастного Жерара Фонсека! Теперь и сюжет, и его развитие были мне совершенно ясны. Жерар беспрерывно возводит несправедливые обвинения на сестер, ссорит их между собой и таким образом держит в повиновении весь этот женский мирок. Подсознательно он влюблен в своих сестер, и мысль, что им свойственны обычные человеческие стремления, ему невыносима. Он упорно хочет навсегда сохранить власть над ними и всеми способами препятствует их попыткам покинуть домашний очаг. Всякий раз, как какая-нибудь

из них влюбляется в мужчину, он приходит в бешенство, негодует, строит злобные козни, лишь бы удержать ее возле себя. Вся жизнь его проходит в бесплодных стараниях предотвратить неизбежное. И, разумеется, он оправдывает свои эгоистичные поступки тем, что действует во благо своих близких, которым, наоборот, не дает быть счастливыми на их собственный лад. В этом – основная мысль романа. Она могла бы послужить сюжетом для водевиля, а стала темой трагедии. Для романиста нет более волнующих тем, чем такие, где драма и комедия тесно переплетаются между собой.

Написав две трети романа, я представил его на суд моих друзей. Жан Бассан, Мишель Моруа, Жан Давре, Клод Мориак по очереди читали рукопись. Приговор их был суров. Роман никуда не годится. Я погубил замечательный сюжет: вместо того чтобы сосредоточить внимание читателя на образе брата, я увлекся любовными похождениями сестер. Главным героем следует сделать Жерара Фонсека и поместить его в центр паутины, как настоящего «паука», а остальные персонажи расположить вокруг него. Помнится, осудивший меня военный совет заседал в баре, примыкавшем к залу для игры в пинг-понг. Легкое щелканье целлулоидных шариков чередовалось с тяжелыми ударами, которые обрушивали на меня мои критики. Самым суровым был Жан Давре, его горящий взгляд заранее отвергал все мои оправдания, самым снисходительным – Клод Мориак. Я был совершенно раздавлен. Книга развалилась у меня на глазах. Не могло быть и речи о ее публикации в таком виде, раз моим друзьям она не понравилась. Я вернулся к себе, готовый бросить рукопись в огонь. Но на следующий день в новом приливе творческой энергии принялся за работу. Я выбрал более жесткий стиль, сделал главы более сжатыми, старался во всех эпизодах вывести на первый план Жерара Фонсека, пропитал большую часть сцен его болезненной чувствительностью. Работал я частью дома по вечерам, частью на службе. На столе слева от меня лежали папки с деловыми бумагами, справа – рукопись. По мере того как переделка книги продвигалась, я чувствовал, как выигрывает роман в драматизме и напряженности действия. Мои друзья были правы. Когда я показал им второй вариант, они единодушно одобрили его.

Шел 1938 год. Смутное и тревожное время. Лающий голос Гитлера на волнах радиоприемников, его искаженное лицо на экранах кинотеатров, все более пугающие заголовки в газетах подготавливали общественное мнение к неизбежности войны. С 1933 года страх перед надвигающимся катаклизмом душил порывы нашей юности. Наши личные планы целиком зависели от

грозного неизвестного на востоке. Мы жили сегодняшним днем, наши взгляды были прикованы к чреватой опасностью границе – там выстраивались зловещие знамена со свастикой. Имело ли смысл писать, печататься, если, может быть, завтра весь мир разлетится на куски? Всеобщая тревога достигла апогея в сентябре 1938 года, когда Германия направила ультиматум Чехословакии. Потом, когда все уже казалось потерянным, наступил Мюнхен: встреча Даладье и Чемберлена с Гитлером и раздел Чехословакии, и затем общий вздох облегчения перед постыдно сохраненным миром. Угроза войны отдалилась. Надолго ли?

В атмосфере трусливой отсрочки отложенной партии вышел из печати мой роман «Паук». Он покоробил одних своей резкостью, другие хвалили его за необычность. Марсель Прево, еще до выхода книги опубликовавший отрывки из нее в «La Revue de France»[18] под названием «Обездоленный», предварительно смягчил наиболее откровенные сцены, которые могли бы отпугнуть читательниц журнала. Так, он попросил моего разрешения заменить описания любовных сцен одной и той же формулировкой: «Они стиснули друг друга в объятиях». Я согласился по слабости, из любезности, но, разумеется, при издании романа отдельной книгой весь текст был полностью сохранен.

Вихри международной политики едва улеглись, как началась обычная для конца года кампания по присуждению литературных премий. В «хорошо информированных» литературных кругах мое имя называли самым последним среди претендентов на Гонкуровскую премию. Главным фаворитом был роман Франсуа де Ру «Сумерки», вышедший в издательстве «Галлимар». В состав жюри входили тогда Рони-старший, Рони-младший, Ролан Доржелес, Франсис Карко, Леон Доде, Люсьен Декав, Поль Неве, Лео Ларгье, Жан Ажальбер, Рене Бенжамен. Мой издатель, в последний раз позондировав членов жюри, уверил меня, что в этом году у меня нет никаких шансов получить премию. Самое большее, мою книгу просто упомянут в ходе дебатов. Проинформированный таким образом, я успокоился и в день 7 декабря 1938 года отправился с одним из моих приятелей завтракать в ресторан. Завтрак был вкусен, беседа приятна, и я совсем позабыл, что пора возвращаться в префектуру. Когда же я об этом вспомнил, ужас перед начальственным гневом погнал меня прочь. Я примчался в ратушу совершенно запыхавшись и бросился вверх по лестнице. На площадке двое моих коллег делали мне знаки поторопиться и что-то кричали, но я не мог разобрать слов. У меня мелькнула мысль, что страх мой не

напрасен: ясно, в мое отсутствие меня вызывал директор и мне не миновать обычного в таких случаях разноса. Однако, добежав до лестничной площадки, я, к своему удивлению, увидел, что поджидавшие меня коллеги смеются. Один из них сказал: «Ну, где вы пропадаете? Ваш издатель уже часа два повсюду вас разыскивает. Вам присудили Гонкуровскую премию!» Замначальница бюро подтвердила известие. Ошеломленный, еще отказываясь верить, я кинулся звонить Плону. Занято. Снова занято. Раз десять набираю номер – занято! Наконец на другом конце провода радостный голос: «Да правда же, правда! Вам присудили премию. Быстрее приезжайте!» И – несколько подробностей: «Паук» одержал победу над «Сумерками» на пятом туре голосования, в мою пользу решил голос председателя жюри Рони-старшего.

Через десять минут такси домчало меня, дрожащего от волнения, на улицу Гарансьер к почтенному особняку издательства «Плон». Прохожу портик, пересекаю двор и в приемной оказываюсь в гуще огромной толпы незнакомых людей обоего пола и всех возрастов. Кругом шум, толкотня, журналисты, фотографы, радиокомментаторы, операторы «Пате-журналь». Меня ослепляет свет прожекторов, под нос мне суют микрофоны, задают одновременно двадцать вопросов, на которые я кое-как отвечаю сдавленным голосом. За толпой моих мучителей замечаю друзей: Жан Бассан, Жан Давре, Клод Мориак, Мишель Моруа, Анри Пуадено преданно поспешили сюда и присутствуют при моем торжестве. Я хотел бы сказать им пару слов, обнять их, поблагодарить за то, что они здесь, но плотная шумная толпа отделяет меня от них. Я хотел бы также известить родителей, но и это невозможно: у нас дома нет телефона. Дослать телеграмму? Да я раньше вернусь домой, думаю я, ибо полагаю, что скоро смогу вырваться отсюда. Но я просто не знаю, какая суматоха сопровождает обычно присуждение Гонкуровской премии. Несколько часов подряд меня подвергают безостановочной пытке интервью: «Что вы хотели выразить в романе „Паук“? Какова ваша концепция современного романа? Каковы ваши планы? Каковы ваши литературные пристрастия? Что вы сделаете с этими деньгами?» В том, что со мной происходило, было так мало общего с моей жизнью мелкого чиновника, скромного писателя, что я не знал, радоваться мне или страшиться столь внезапной славы. Стоя перед объективами фотоаппаратов и кинокамер, я говорил себе, что есть какое-то пугающее несоответствие между моей подлинной натурой и моей нынешней известностью. А вдруг заметят, что я не заслуживаю такой награды? Осаждаемый вопросами, оглушенный, теснимый со всех сторон, ослепленный

огнями ламп, я был на грани слез от радости и от страха. Вот уже мой издатель увлекает меня в свой кабинет и предлагает новый договор, в десять раз более выгодный, чем прежний. Я благодарю, подписываю, мы пьем шампанское. Можно подумать, что весь мир состоит сплошь из моих друзей. Наконец, пожав множество рук, раздав множество улыбок и наговорив, конечно, множество глупостей, я бежал от толпы и вернулся домой. Родители знали все от соседей, слушавших передачу по радио. Лица их были радостны и торжественны. Волнение придало им что-то возвышенное. Без сомнения, в день, когда столько незнакомых французов чествовали их сына, они вспоминали бегство из России. Брат, посмеиваясь, сжал меня в объятиях, точно я только что выиграл теннисный матч. Меня огорчало отсутствие сестры. Мы телеграфировали ей добрую новость в Нью-Йорк. Затем вся семья, включая дядю Константина, собралась за столом. Водка, закуски, тосты, планы на будущее… Но вечером столь важного для меня дня мне не дано было спокойно насладиться своим счастьем в кругу близких. Репортеры и фотографы, напав на мой след, и дома осаждали меня. И я неосмотрительно обещал назавтра разным газетам сотрудничество. Но ведь я не предвидел, что получу Гонкуровскую премию, и не хранил в ящиках стола про запас ни одной самой маленькой статьи, ни одного самого короткого рассказа. Чтобы сдержать слово, почти всю ночь мне пришлось работать. Родители давно спали, а я после шумного, утомительного дня, укрывшись в своей комнате, упорно исписывал страницу за страницей. Тексты, которые я дал тогда в печать, носят следы усталости и спешки. Этой же ночью я размышлял о своем будущем. Чем больше я обдумывал свое положение, тем яснее понимал, что это неожиданное признание может остаться без последствий. Когда событие утратит злободневность, лучи прожекторов отвернутся от меня и я снова погружусь в тень. Сто тысяч читателей, обещанных «Пауку», может, и не станут читать следующий роман его автора. Нельзя строить литературное будущее на случайной удаче. Творческая свобода двадцатисемилетнего писателя, только вступающего в литературу, лучше всего будет обеспечена второй профессией и постоянной и оплачиваемой службой. Тогда лишь он будет спокойно писать, не заботясь о средствах к существованию. Вот что твердил я себе в том лихорадочном состоянии. Следовательно, хотя премия и принесет мне, вероятно, какие-то деньги, я должен остаться в префектуре. Не без грусти принял я такое решение. По моей просьбе мне предоставили отпуск на три дня, на четвертый я вернулся к своим обязанностям и снова погрузился в цифры.

Но, вопреки видимости, что-то изменилось в моей жизни. Я почти физически ощущал, в каких головокружительных пропорциях расширяется узкий прежде (четыре-пять тысяч у предыдущих моих книг) круг моих читателей. Я вдруг оказался на ярко освещенной сцене под взглядами тысяч устремленных на меня глаз. Я чувствовал и осознавал, что отныне облечен новой ответственностью. Будут ли достойны такого признания мои новые произведения? В самый разгар моего успеха, как будто для того, чтобы я сам себя призвал к скромности, я познакомился со многими русскими писателями, эмигрировавшими из России после революции: Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Буниным, Ремизовым, Шмелевым. Все они говорили мне, что радуются моей награде, но я угадывал за их словами глубокую печаль крупных писателей, лишенных своего читателя. В моих глазах они были живой иллюстрацией к трагической проблеме интеллигенции в изгнании. Пережитые ими испытания обострили их чувства, способствовали созреванию их таланта и поддерживали в душе культ утраченной родины. Но, покинув родину, они потеряли и читателей своих первых произведений, а новых не приобрели. Издатели не спешили публиковать переводы их произведений, пресса их не поддерживала, и только узкий круг русских эмигрантов побуждал их к творчеству. Можно было подумать, что, вырванные из среды своих соотечественников, которые создали им славу в России, они сразу потеряли право на существование, и даже в глазах тех, кто так великодушно их приютил, представляли граждан, не имеющих родины, и, стало быть, сомнительную ценность. Как будто творчество писателя тогда лишь обладает достоинствами, когда он занимается своей профессией в географических рамках родной страны. Покинув Россию, они никуда не прибыли, они продолжали обитать в промежуточной – ничейной зоне. Леденящий холод ада вокруг – вот участь апатридов.

– Те же проблемы стоят и перед советскими писателями, нашедшими у нас приют?

– Не совсем так. Став изгнанниками тоже по политическим причинам, они прибыли к нам сегодня с высоко поднятой головой. Их отказ принять существующий в СССР порядок вызывает к ним уважение части публики западных стран. Газеты, радио, телевидение создают им широкую известность. Но это отнюдь не значит, что их судьба сложится счастливо. В любом изгнании, даже добровольном, заключено возмездие. Завоевание международной славы не утешит писателя, лишенного славы национальной. Дружба тридцати шести других наций не может возместить неприязнь большинства его соотечественников.

Несмотря на облегчение, которое должны испытывать Солженицын, Синявский, Некрасов, Максимов или кто-либо другой, освободившись от гнета полицейского надзора, они, я глубоко убежден в этом, страдают от сознания, что их произведения исключены из общего потока русской литературы. Они страдают также – и это непоправимо – от того, что лишены русского горизонта, русской аудитории, русской природы, русской речи, которые омывали их, как вода омывает пловца. Как писать, если самый воздух вокруг вас не насыщен родным языком? Конечно, они обрели комфорт, свободу, безопасность. Но достаточно ли этого? В действительности этот комфорт, эта свобода и эта безопасность могут вначале стать для изгнанника непереносимыми. Привыкший к денежным трудностям и чувству постоянной опасности, он противится материальному изобилию, как противятся слишком обильной еде, потому что она вызывает тошноту. Затем, мало-помалу, изгнанник привыкнет к новому миру, но сохранит тоску по старому. И эта ностальгия обогатит его творчество соразмерно его мучениям. Изгнание возвеличивает писателя, если у него сильный характер, и оно ломает его, если он им не обладает. Но и в том, и в другом случае испытание это тяжкое, и никому из моих собратьев по перу я не пожелал бы пройти через него хоть однажды.

– Общение с русскими писателями, я имею в виду как ныне живущих, так и тех, кого уже нет, никогда не вызывало у вас сожалений, что вы выбрали французский язык как средство выражения?

– Я не выбрал французский язык. Обстоятельства, образование, вся моя жизнь заставили меня писать на этом языке. Но знание русского языка повлияло, вероятно, на мой стиль на французском языке. Сравнивая французский язык с русским, я прихожу к выводу, что слова русского языка гораздо теснее связаны с предметом. Когда я произношу многие русские слова, образ предмета тотчас с какой-то жизнеутверждающей силой возникает в моем сознании. Русский – язык простой, сочный, русская речь звучит словно поток ономатопей, тогда как французский отшлифован веками употребления. Французский, кроме того, язык более абстрактный, и, чтобы добиться выразительности на этом языке, я не могу довольствоваться обычным словом, как я сделал бы это по-русски, часто мне приходится подбирать к обычному слову эпитет, который усилил бы его воздействие.

– Пишете ли вы на родном, русском языке?

– Я мог бы написать по-русски письмо, но мне было бы чрезвычайно трудно написать по-русски книгу. Для этого мне

нужно было бы долго жить в России, погрузиться в саму атмосферу языка, выработать свой собственный словарь, найти собственный ритм, словом, заново научиться ремеслу писателя. Нет, я только французский писатель.

– А армянский? Говорите ли вы по-армянски?

– Нет. В нашей семье никогда не говорили на этом языке, и я очень сожалею об этом, ибо, говорят, он великолепен. Армянская литература открывает, наверное, настоящие сокровища тем, кто читает ее лучшие произведения в оригинале. Я, *русский* армянин, воспринял только русскую культуру. Это, бесспорно, большой недостаток. Тем не менее после присуждения мне Гонкуровской премии меня чествовали как в армянских, так и в русских кругах Парижа. Как я уже говорил, всеобщий интерес ко мне крайне меня тревожил. Меня пугало будущее. В самом деле, если бы в те дни я писал новый роман, мое творческое вдохновение было бы задушено. Обстановка всеобщего ожидания следующей книги молодого автора в переломный момент его творчества парализует писателя. Страх не оправдать общие надежды обуздывает вдохновение. Взвешиваешь каждую запятую, не осмеливаешься слово соединить со словом. К счастью, тогда, в декабре 1938 года, я писал не роман – я работал над биографией Достоевского. Задача грандиозная, но и благодатная. В тени автора такой значимости я мог не бояться сравнения моей новой книги с предыдущей. Я как бы начинал вторую карьеру. Вскоре я осознал и другое преимущество: взявшись воссоздать образ Достоевского, я разбил жесткие рамки, в которые заключено было все эти годы мое творчество. До сих пор, что бы я ни писал, все мои вещи с их линейным построением не превышали по объему трехсот страниц на машинке. Какими бы ни были сюжет и число действующих лиц, моему вдохновению заранее ставились определенные границы. Теперь, когда мне предстояло рассказать о жизни человека – и какого человека! – от рождения до смерти, со всем ее тяжким бременем любви, труда, надежд и разочарований, несправедливостей, бедности, обыденного и возвышенного, я самым естественным образом выходил за пределы привычного объема моих прежних рукописей. Мне представлялось, что благодаря Достоевскому я раз и навсегда избавлюсь от скованности, которая не пускала меня бежать на длинные дистанции. Прежде чем вернуться к литературе вымысла, я понял, что следующий роман буду писать с большей легкостью и свободой.

– А как вы, романист, понимали работу биографа? Ведь для вас это был совсем новый жанр.

– Да, жанр был для меня нов, а так как я испытывал

отвращение к «беллетризованной биографии», я принуждал себя очень строго следовать документам, которые были в моем распоряжении. Русская библиотека Тургенева в Париже содержала тогда (во время оккупации немцы вывезли ее в Германию) ценнейшие книги о Достоевском на русском языке. Я прочел не только все произведения самого Достоевского, но и все, что было о нем написано. От книги к книге у меня накапливались записи и росло мое восхищение. Какая во всех отношениях исключительная жизнь! Нищета, тюрьма, каторга, эпилепсия, игра, гений, слава – все соединилось в ней и все было истинной правдой. Но как придать этой правде правдоподобие и убедительность? Я практически закончил изучение творчества и жизни Достоевского, но все еще не приступал к работе над книгой. Хотя я знал о нем все, он продолжал оставаться для меня чужим и загадочным. Я видел его таким, каким его описывали мемуаристы, но не представлял его себе в реальной жизни. Мучительные поиски образа превращались в наваждение. И вот однажды ночью мне приснилось, что Достоевский входит в мою комнату. Он сутулился и выглядел усталым, как на портрете Перова. Он заговорил со мной своим хриплым голосом. И вдруг я почувствовал его запах – кисловатый запах старика. Это был шок! На следующее утро, обратившись вновь к давно изученным материалам на моем столе – мемуарам, письмам, дневникам той эпохи, – я ощутил, как вся эта печатная продукция приходит в движение, наполняется теплом настоящей жизни, и понял, что могу, наконец, писать книгу.

Мне хотелось полностью воздать Достоевскому должное и не только рассказать о его жизни, но и проанализировать его творчество. Воодушевляющая, но и пугающая задача! Ведь читать Достоевского – значит погружаться в изумительный мир, в мир, где реальное переплетается с фантастическим. Фантомы, которые водятся в его сумеречных краях, не нуждаются ни в пище, ни в сне, и, когда они закрывают глаза, чтобы отдохнуть, ими немедленно овладевают грезы. Им неведомо, что такое деньги, они не знают, есть ли они у них и откуда они в точности берутся. Две-три детали обрисовывают их жилища и даже лица их едва очерчены. Потому все их бытие заключено в духовной жизни и в душевной борьбе, и, проходя через бесчисленные жизненные потрясения, они ищут не лучшего места в мире, а идеального положения перед богом.

Доктор Чиж,[19] известный специалист по Достоевскому, считал, что персонажи Достоевского в большинстве своем невропаты. Действительно, на первый взгляд как будто нет ничего общего между нами и этими бродягами, анархистами,

полусвятыми, этими отцеубийцами и пьяницами, эпилептиками и истеричками. А между тем они удивительно близки нам. Мы их понимаем. Мы их любим. Мы, наконец, узнаем в них самих себя. Но если каждый из них представляет собой патологический случай, а мы индивиды в принципе вполне нормальные, то как объяснить природу той горячей симпатии, которую они нам внушают? Истина в том, что безумцы Достоевского не так уж безумны, как, может быть, кажутся. Просто они таковы, какими мы не осмеливаемся быть. Они говорят и делают то, что мы ни говорить, ни делать не осмеливаемся. При свете дня они выставляют напоказ то, что мы таим в глубинах подсознания. Они – это мы сами, но увиденные изнутри. При таком способе ви́дения – своего рода внутренней киносъемке – автор яснее всего видит самое сокровенное в нас, а заметное невооруженным глазом – плоть, одежда, обстановка, обыденные поступки – от него удалено. Объектив камеры наведен на внутренний мир, и тогда мир внешний представляется расплывчатым, как в сновидении. Если же Достоевский порой поддается искушению и снабжает свои создания медицинским ярлычком, то делает он это в оправдание их поступков, непостижимых для слишком приверженных житейской логике читателей. Но герои его вовсе не больны, да и не могут быть больны, ибо они бестелесны. Или, вернее, их телесная оболочка лишь предполагается. Все творчество Достоевского – великая борьба противоположных идей, и самое замечательное в этой борьбе – ее исход: она не приводит ни к каким практическим результатам. Ибо для автора, как и для его героев, счастье – это смирение. «Человек – есть существо, ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение», – говорил он. И еще: «Что же собственно до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины». Через трусость и преступление, через радость и горе человек у Достоевского идет, спотыкаясь, по пути, ведущему его к Богу…

Судьба моей книги была весьма печальной. Она появилась в книжных магазинах в мае 1940 года, когда немцы вступили в Бельгию. Несколько газет, вскоре закрывшихся вследствие капитуляции Франции, отозвались о ней с похвалой. Но французам уже было не до чтения.

– Какой была ваша жизнь после получения Гонкуровской премии до объявления войны, в период с декабря 1938-го до сентября 1939 года?

– В начале 1939 года я женился и, покинув родительский кров, поселился с женой в маленькой квартирке на окраине предместья Сен-Манде в двенадцатом округе. Там у меня был –

невероятное чудо! – крошечный рабочий кабинет с книжным шкафом в углу. Вернувшись со службы в префектуре, я работал над моим «Достоевским». Но даже моя поглощенность книгой не помогала мне забыть о сгущавшихся над нашими головами грозовых тучах. Каждый проходивший день уносил частичку надежды. Все слышнее становились истерические вопли Гитлера. Война была неизбежна. Года за два до этого я, по совету одного моего друга, представил документы на конкурс чиновников интендантской службы и по мобилизации был направлен в Службу общего снабжения, находившуюся в городе Тюле. Я выехал туда 3 сентября. Мои обязанности в интендантстве были самыми простыми: составление разных бумаг, выдача промышленникам талонов на бензин, расчет потребностей в угле войсковых соединений, размещавшихся на территории нашего района, заключение с фабрикантами департамента контрактов на поставку варенья для армии, реквизиция запасов вина, изучение производительности завода мясных консервов…

Начался период «Странной войны». Францию сковало оцепенение и наряду с ним нарастала глухая тревога. Общее мнение было таково, что немцы, напуганные «мощным сосредоточением» войск союзников, не осмелятся перейти в наступление и после нескольких столкновений с противником, предпринятых исключительно для спасения чести, сложат оружие. И вдруг: захват немцами Голландии, Бельгии, Люксембурга, вторжение во Францию, массовое бегство населения по обстреливаемым пулеметами дорогам. Поток беженцев в машинах самых невероятных марок обрушивается на департамент Коррез. Тюль наводняют измученные штатские – мы должны хоть как-нибудь разместить и накормить их. Затем приходит очередь военных. Отступают целые полки. Наше интендантство едва справляется с работой. Булочники день и ночь выпекают хлеб. Муки не хватает. Солдаты спят в грузовиках или прямо на соломе на открытом воздухе. Узнаем, что Петен просит о перемирии. А продвижение немцев все продолжается. Разносятся слухи, что «они» уже в Клермон-Ферране. Полковник приказывает: «Преградить дорогу врагу!», но у нас всего три станковых пулемета, да и те учебные. Следует контрприказ: «Оставаться на месте, сдаться в плен и продолжать обеспечивать снабжение гражданского населения». Я больше не покидаю казарму и, завернувшись в шинель, сплю на канцелярском столе посреди папок с делами. Так же поступают и другие служащие интендантства. Глубокой ночью – телефонный звонок из лагеря в Ла Куртине. Незнакомый лейтенант на другом конце провода уверяет: только что подписано перемирие. Будим полковника. Он

кричит в трубку: «Ложь! Хитрость бошей!» Вооружившись карманными фонариками, гуськом идем на почту через темный спящий город. Телефонистки, работающие на коммутаторе, подтверждают новость: коммюнике распространило агентство «Авас». Возвращаемся в казармы подавленные, усталые, охваченные стыдом. На следующий день – 23 июня – на рассвете слушаю по лондонскому радио призыв генерала де Голля продолжать борьбу, а через несколько минут по французскому радио – официальное сообщение о перемирии. В казармах немедленно разгораются споры между теми, кто одобряет выдачу Франции врагу, и теми, кто этим возмущается. Что до меня, мной владеют гнетущая тоска и бессильный гнев перед этой безмерной исторической несправедливостью: торжество оружия означает не победу Германии над Францией, а победу насилия, расизма, слепого национализма над разумом и терпимостью. Немцы не продвинулись до Тюля, и я чудом избежал горькой участи тех, кому было приказано капитулировать без всякого сопротивления.

Франция разделена на две части. Вспоминаю смену караула в Висбадене, на которой я присутствовал совсем ребенком. И вот восемнадцать лет спустя настал наш черед претерпеть иностранное владычество на своей земле. Наступил день национального траура. Приспущены знамена. Идет дождь. Митинг у памятника павшим. Минута молчания. Лица серьезны. Многие мужчины плачут. На церемонию привели школьников, они смотрят на старших, не понимая, что происходит. Ходят слухи о близкой демобилизации. А потом? Что делать потом? Остаться в свободной зоне? А на что я буду жить? Единственный выход – вернуться в Париж и возобновить службу в префектуре. С печалью и отвращением принимаю я это решение: ведь в Париже немцы. Но ничего не поделаешь. Мои родители, покинувшие Париж вместе с волной беженцев, приехали в Тюль в сопровождении моего брата. Он как специалист освобожден от мобилизации и ему удалось скрыться, когда эвакуировали его завод. Вторично за свою жизнь мои родители попадают в «великий исход» – массовое бегство. Тогда – через всю Россию, теперь – через всю Францию. Вечные странники, теперь, как и тогда, гонимые из города в город. Сейчас они готовятся вновь пуститься в путь, чтобы вернуться домой. Через несколько недель, демобилизовавшись, возвращаюсь и я.

И вот оккупированный серый Париж, Париж продовольственных карточек, голода и холода, Париж серо-зеленых мундиров, белых с черными буквами объявлений, нацистских флагов на общественных зданиях, Париж велосипедов, затемнения, переполненного метро, Париж

коллаборационистских газет и английского радио – его слушают тайком. Час новостей Би-би-си для меня важнее, чем час обедни для христианина. Приникнув к радиоприемнику, я желал бы иметь в десять раз более тонкий слух, чтобы улавливать сквозь помехи каждый звук этого голоса, несущего надежду. Как и у большинства французов, в моей жизни отныне две цели: пропитание и сводки. Есть и надеяться. Властвует бифштекс, из-под полы купленный у сапожника, – у него в провинции родственники, и сводки о победах – их доверительным шепотом передает консьержка.

Разгром разбросал в разные стороны нашу дружескую компанию. Мишель Моруа в Париже, Жан Давре в Марселе, Жан Бассан в Касабланке, Клод Мориак с отцом в Малагаре. Регулярная переписка между свободной и оккупированной зоной запрещена. Свободно обращаются в стране только специальные межзональные открытки с краткими сообщениями. Мы, однако, пишем друг другу длинные письма, которые Клод Мориак, живущий около демаркационной линии, собирает, перепечатывает на машинке в нескольких экземплярах и тайно пересылает из зоны в зону. Так мы поддерживаем связь друг с другом. Обмениваемся мыслями о происходящем, поверяем друг другу свой гнев, боль, надежду.

Тем временем я возобновил работу в префектуре в обществе моих безропотных и изголодавшихся коллег. Чтобы как-то улучшить свой повседневный рацион, служащие моего отдела устраивают охоту на голубей – они целыми колониями гнездятся в углублениях фасада ратуши. На краю подоконника чиновники-браконьеры ловко укрепляют скрепками петлю, ее скользящий конец свисает внутрь и его легко достать рукой. Крошки хлеба в середине петли привлекают птиц. Как только одна из них приблизится к крошкам и примется клевать, раздается щелчок – лапки ее связаны, птица в ловушке. Один служащий, специалист по мгновенной казни, сжимает под крыльями тельце голубя и душит его. Если в этот момент в дверь стучит посетитель, голубя быстро запихивают в картонную зеленую папку, и, пока длится визит докучливого посетителя, со стороны этажерки доносится шум крыльев бьющейся в папке птицы. Когда посетитель, наконец, уходит, чиновник вытаскивает свою жертву и приканчивает ее. Мясо парижского голубя безвкусное и волокнистое, но в голодные времена все годится, чтобы набить желудок. Меня тоже приглашают отведать блюда, приготовленного из охотничьего трофея, но я уступаю свою долю любителям. Кстати, я даже не знаю, останусь ли на службе в префектуре: в соответствии с новым законом правительства Виши

государственными чиновниками, кроме специально оговоренных случаев, могут быть только французы по рождению. Никогда не чувствовал я себя в такой степени французом, как после разгрома Франции, а нынешнее правительство исключает меня из национальной общности. У меня снова отнимают родину. Я протестую. Составляю целое досье в свою защиту. Требую оставить меня на моей должности. В конце концов, мне это в виде исключения разрешают. Честно говоря, мне стыдно так негодовать из-за своих мелких неприятностей, когда столько французов испытывают тяжкие муки под варварской властью оккупантов. С ужасом, с возмущением вижу я первые желтые звезды на одежде моих соотечественников. Эти желтые звезды, предназначенные стать знаком позора, в моих глазах превращаются в святой ореол мучеников. Трудно примириться с мыслью, что находятся французы, извлекающие выгоды из этой чудовищной расовой дискриминации. Многие мои друзья – евреи. Гонимые властями, они особенно дороги мне. Мое бессилие помочь им разрывает мне сердце. Немцы преследуют евреев, целыми поездами вывозят их в концлагеря, угоняют на принудительные работы в Германию молодежь, захваченную во время облав, расстреливают при первом сопротивлении, усиливают бомбардировки Парижа, наконец, занимают свободную зону – вся Франция под пятой врага. Но с каждой неделей крепнет надежда: в войну вступает СССР, а вслед за ним – США.

Немцы напали на Россию молниеносно, и у моих родителей появилась надежда, что под сокрушительными ударами немецких армий советское правительство долго не продержится и при смене режима они, может быть, смогут после двадцатилетнего изгнания вернуться на родину. (Не называли разве недавно в немецких сводках Армавир и Краснодар – бывший Екатеринодар?) И снова я огорчаюсь, что так далек от них в своих планах на будущее. Для меня возвращение в Россию немыслимо. И тем более невозможно для меня вернуться на родную землю под сенью вражеских знамен. Впрочем, и в желаниях моих родителей еще нет определенности. Они жадно следят по карте за продвижением гитлеровских армий и очень расстраиваются, когда видят в газетах или в кинохронике разрушенные русские города и русских пленных, изможденных, оборванных. Первые победы советских войск наполняют их гордостью. Забыв эгоистические проблемы эмигрантов, они с удивлением замечают, что желают победы стране, которая их отвергла. Они молятся не за правительство – его они не признают, а за народ – его они никогда не переставали любить, они молятся не за

сегодняшний Советский Союз, а за вечную Россию.

– Какой была ваша писательская деятельность в эти годы?

– В годы оккупации я выпустил в свет две книги. В 1941 году – сборник из трех легенд под названием «Суд божий». Эти легенды не заимствованы ни из русского, ни из французского фольклора. Целиком плод моей фантазии, они были для меня бегством от действительности в минувшие эпохи, вторжением фантастического в вязкое течение повседневности, торжеством чудесного. Совсем иным был тон романа «Мертвый хватает живого», появившегося в следующем году.

– Да, этот роман считался как бы подтверждением правоты тех в Советском Союзе, кто утверждает, будто Михаил Шолохов совершил плагиат, приписав себе авторство «Тихого Дона». Вымышлена ли рассказанная в романе история бесчестного писателя или она имеет какие-то корни в реальности?

– История эта вымышлена, но в основе ее лежит подлинный случай. Мой друг детства Володя Былинин был убит на войне, и его жена дала мне посмотреть записную книжку, куда он заносил свои мысли. Всю ночь я с волнением ее читал и вернул на следующий день. И уже независимо от меня моя мысль заработала. Вдруг словно что-то щелкнуло: мне представился писатель-неудачник, женившийся на вдове никому не ведомого гения. В бумагах покойного он находит рукопись романа и публикует ее под своим именем. Рождается драма. В душе героя борются, сменяя друг друга, противоречивые чувства: тайное наслаждение участника, горькая радость украденной славы, страх не оправдать собственными произведениями репутацию, ему не принадлежащую, страстное желание перевоплотиться в мертвого, труд которого он присвоил. Затем происходит медленное порабощение всего его существа призраком умершего, раздвоение, расщепление личности героя и, наконец, очищение искупительной жертвой. Рассказ построен в форме дневника плагиатора.

– Считаете ли вы, что ваши первые романы, короткие и камерные, ставят вас в ту категорию романистов, к которой принадлежат Жюльен Грин и Франсуа Мориак?

– Я всегда безмерно восхищался Жюльеном Грином и Франсуа Мориаком. Несомненно, в начале моей литературной деятельности они оказали на меня сильное влияние. Первые мои романы были короткими, неистовыми и мрачными, с резко обрисованными, почти карикатурными героями. Молодость и неопытность толкали меня к преувеличению, к пастозности письма. Я считал, что мои персонажи, чтобы выглядеть живыми, должны отбрасывать густую тень. Но во мне нарастало

стремление разнообразить средства художественного выражения, высветлить палитру. Когда я работал над следующим романом, «Знак быка», я испытывал настоятельную потребность с большей свободой описывать моих героев, наделить их характером более сложным, отказаться от изображения человека как некоей *компактной массы* и показать его как водоворот противоречивых мыслей и противоположных инстинктов. Подобное «очеловечивание» существ, созданных моим воображением, стало насущно необходимым, когда я задумал писать трилогию «Пока стоит земля». Я уже говорил, какое впечатление производили на меня в детстве рассказы моих родителей. Однако в моих первых книгах я был еще не готов использовать материал этих рассказов. Только после того, как я прошел через работу над биографией Достоевского, стремление восстановить русское прошлое матери и отца завладело всеми моими помыслами. Я вдруг понял, что храню в себе настоящую сокровищницу образов, и осознал, что не имею права беречь их для одного себя. Россия, которую я носил в глубоких тайниках моей памяти, требовала выхода, простора. Сначала я предполагал просто-напросто правдиво изложить в отдельной книге мои семейные воспоминания. Но вскоре передумал. Я опасался, что мемуарист потеснит во мне романиста. Составление точной хроники событий принесет мне удовлетворение, но не позволит ввести в рассказ вымышленные персонажи, воспрепятствует проникновению в те круги общества, где никто из моих близких не рискнул бы действовать, не даст придумать любовные истории, которые, если бы мои родители их пережили, привели бы их к разводу наутро после свадьбы. Словом, еще не взявшись за перо, я уже боялся, что, озабоченный точной передачей фактов, крайне обедню общую картину. После долгих размышлений я выбрал сплав реального и вымышленного. Мои воспоминания не стали бы единственным материалом для книги, а растворились бы в целом, где правда сливалась бы с вымыслом. Но, даже остановившись на форме романа, а не мемуаров, я долго колебался, прежде чем приступил к непосредственной работе над ним. Грандиозность моего проекта и его дерзость устрашали меня. Хватит ли у меня сил, хватит ли терпения довести до конца дело столь трудное и столь разнящееся от всего, что я брал на себя до сих пор, сочиняя короткие романы из французской жизни? И понадобилась вся опустошенность, вся бездна отчаяния, которые принесли разгром Франции и ее оккупация, чтобы побудить меня искать утешения от горестного настоящего в иной стране – стране грез.

Над трилогией «Пока стоит земля» («Пока стоит земля», «Сума и пепел», «Чужие на земле») я работал более десяти лет. Это история одной русской семьи и ее окружения, которая прослеживается с 1888 года, с момента, когда герои только начинают свой жизненный путь. Они растут, характеры их формируются, они находят друзей, переживают любовные увлечения, обзаводятся семьями, у них рождаются дети и одновременно, в зависимости от общественного положения и личных склонностей и убеждений, они принимают участие в важнейших исторических событиях эпохи: в Русско-японской войне, в Первой мировой войне, в революции и бегстве из России. Рассказ доведен до 1939 года – до начала Второй мировой войны. Михаил и Таня, герои трилогии – в первом томе они были детьми, – провожают на Восточном вокзале своего сына Бориса. Он мобилизован во французскую армию и покидает Париж, чтобы присоединиться к полку. Таким образом, с первой страницы первого романа трилогии «Пока стоит земля» до последней страницы заключительной ее книги «Чужие на земле» перед читателем проходит жизнь трех поколений одной семьи. Своих героев, происшедших из единого корня, я разбросал по враждующим лагерям, чтобы усилить впечатление их психологического разрыва. Один из них принадлежит к революционным кругам, другой – кадровый офицер, третий – богатый московский коммерсант. Но, на мой взгляд, главный герой трилогии – Время. Я хотел показать вечное возобновление в каждом новом поколении людей одних и тех же человеческих чувств: любви, тревог, политических страстей, семейных радостей, печалей, честолюбий… Каждый убежден, что он первым познает весь опыт жизни, тогда как он всего лишь бессчетный исполнитель старой как мир роли. Название трилогии мне подсказала фраза из книги Бытия: «Пока стоит земля, сев и жатва, холод и жара, лето и зима, день и ночь неизменно будут следовать друг за другом».

Работу над моими предыдущими романами я начинал с составления подробного плана. На этот раз я не стал сковывать повествование предварительной схемой. Я надеялся, что чем меньше заданности будет в моем маршруте, тем вернее вымышленные мной создания обретут изменчивый и неуловимый облик подлинной жизни. Я не знал, каким, хотя бы приблизительно, будет объем романа и сколько персонажей будет в нем действовать. Но я твердо знал, что в отношении к своим персонажам хочу быть предельно беспристрастным. Среди героев трилогии есть революционеры, сторонники царского режима, приспособленцы, скептики. Каждый убежден в своей правоте и

искренно отстаивает свою точку зрения. Приняв сторону кого-нибудь из них, я бы изменил своему намерению: моей целью было не выступать с обвинениями в адрес той или иной группировки русского общества, а заставить жить напряженной жизнью несколько выдуманных мною индивидов. Стремясь придать им большее правдоподобие, я перевоплощался в них, влезал в их шкуру, защищал поочередно и с равной горячностью взаимоисключающие политические позиции! Когда я был кадровым офицером Акимом, я, как и он, ненавидел большевиков, а когда я был революционером Николаем, я, как и он, сострадал угнетенному народу и оправдывал разграбление дворцов и расстрелы заложников, ибо, как и он, верил, что без этих крайностей не построить новое общество, сильное и счастливое. Я был также неверной Таней, честным Михаилом, презренным трусом Володей, воплощением зла Кизяковым, бездарным писателем Малиновым, нежной Ниной и глупой и чувственной Любовью… В таком обширном романе далеко не все персонажи развиваются по воле автора. Некоторые из них, задуманные как главные, оказались бесцветными, и я поспешил отделаться от них. Другие, которых я вводил как простых статистов, неожиданно приобрели значение и яркость, удивившие меня самого. Я имею в виду этого шута Кизякова, набросанного как силуэт, но протолкавшегося вперед на главные роли. Он забрал надо мной власть при первом же появлении в романе, когда я описывал его – пузатого, бородатого, с похотливым взглядом, сочным голосом и пророческими тирадами. Он был сильнее меня. Он желал говорить, действовать, и мне оставалось не мешать ему. От главы к главе я все больше торопился на встречу с ним. Я выдумывал все новые и новые повороты в его судьбе. В погоне за наслаждениями он – язвительный, необузданный, коварный, сметливый – неуклюже разгуливал по моей книге, на все наводя порчу своим маслянистым взглядом. Поминутно взывая к Богу, он развлекался, развращая слабых и бросая их, как только истощалось содержимое их кошелька. Накануне Первой мировой войны он смешивался с манифестантами, чтобы наблюдать за разгоном их полицией. В первые месяцы революции он играл роль двойного агента. Тяжело мне было умертвить его в конце третьего тома. Другой персонаж, выскользнувший из моих рук и вступивший не на ту дорогу, которую я ему выбрал, – писатель Малинов. В первом томе я представил его как светского писаку, претенциозного и глупого. Я даже иногда жалел, что вожусь с этой марионеткой. Но во втором томе, когда мне нужно было в 1914 году послать на русский фронт военного корреспондента, я вспомнил о Малинове. Нужда,

страх, смерть, увиденные своими глазами, оставили неизгладимый след в душе моего героя. А дальше – революция, смерть любимой жены, политические разочарования; каждый новый удар судьбы выявлял новые стороны его характера. От несчастья к несчастью его понимание мира становилось все более широким и возвышенным. Тяжкие испытания благоприятствовали созреванию его писательского мастерства. В третьем томе, посвященном его жизни в изгнании, я с нежностью исследовал судьбу этого русского писателя, оказавшегося в расцвете таланта в стране, которая приютила его, но в которой он никому не был нужен.

– Были ли прототипы у образов Кизякова и Малинова?

– Нет, Кизяков, этот шутовской вариант Распутина, целиком вышел из моей головы, как и Малинов, и Володя. В других персонажах, напротив, соединились черты, физические и моральные, двух десятков разных моделей, но ни у кого из них нет определенного прототипа. Если бы я взялся изображать людей, которых хорошо знал, я был бы вынужден придерживаться сходства. Я же решился приступить к своей трилогии потому, что она была плодом моего воображения.

– Но этот плод вашего воображения потребовал тем не менее значительной документальной основы. Где вы ее брали?

– Сначала у родителей. Они были счастливы помогать мне в этом грустном воскрешении их прошлого. Прежде чем приступить к отделке главы, я составлял список нужных мне уточнений и подвергал отца и мать строгому допросу. Не без грусти вспоминаю я эти вечера, проведенные вместе с ними в поисках далеких реминисценций. «Тебе в самом деле надо знать, какие краны были в школе, где я учился?» – спрашивал отец. Я уверял, что да. У отца была превосходная память. «Так вот, – говорил он, – краны были короткие с поперечными ручками». С признательностью я помечал эту деталь и переходил к следующему вопросу. Старые платья и шляпы моей матери выкладывались передо мной, извлеченные из кладовой ее памяти. Я хотел знать, какие духи были в моде в России, когда ей было двадцать лет. Несмотря на все свои старания, родители не могли дать мне исчерпывающих сведений обо всех сторонах русской жизни, и я обращался к другим ее свидетелям. Так, моим советником по всей военной части романа был полковник императорской армии, старый друг нашей семьи. Он вдохновлял меня при создании образа Акима. На восьмом этаже парижского дома, где он жил, в двух комнатках для прислуги он устроил музей своего полка – гусаров Александрии. В этих комнатах с низким потолком царский офицер, специалист по армейским

знакам отличий, собрал целую коллекцию реликвий: потрепанные мундиры, выцветшие фотографии, шашки для парадов, знамена, флаги, вырезанные из дерева фигурки, изображавшие эскадрон в миниатюре. В этой его страсти были скорбь и достоинство, ребячество и гордость. По счастью, полковник сохранил путевые журналы офицеров своего полка и одолжил их мне. В моем распоряжении оказалось множество письменных свидетельств, противоречивых, но исходивших от очевидцев, равно достойных доверия, о каждом дне войны, каждой стычке, каждом бое. Разумеется, чтобы пополнить свои знания о прошлом России, я использовал разнообразные документальные материалы: рукописи, письма, дневники… Не постыжусь признаться, что мне очень помог Бедекер 1900-х годов, где я нашел планы Москвы и Петербурга, маршруты конок, плату, которую брали извозчики, и сотню других увлекательных данных. Каким бы абсурдным все это ни выглядело, романисту полезно знать, что его герой, отправляясь от Ильинских ворот к Земляному валу, садился на конку номер четыре и платил три копейки за билет на империале! Еще один источник информации – изобразительные материалы. Все иллюстрированные журналы эпохи побывали в моих руках. Я рассматривал в лупу самые крошечные гравюры, если они изображали пейзажи или сцены русской жизни. Например, для рассказа об убийстве террористами министра Плеве я использовал фотографии, сделанные на месте покушения. Поэтому я знал, что в тот день небо было ясным, мостовые сухими, что в момент взрыва Измайловский проспект пересекала конка, а рядом с бесформенными останками жертвы валялся искореженный велосипед тайного агента, сопровождавшего коляску министра. У края гравюрки видна была вывеска: «Отель „Варшава“ – Чай и закуски – Владелец Кондратьев». Эти слова «Чай и закуски» и «Владелец Кондратьев» наполнили меня радостью. Предметы словно бы слетались на помощь моему воображению. Двадцать раз, сто раз в ходе моих разысканий я познавал маниакальную страсть коллекционера. Большой зал Национальной библиотеки не отапливался. Редкие читатели, закутанные, как полярные исследователи, с мокрыми носами, с окоченевшими пальцами склонялись над книгами, из которых на них веяло счастьем. Возвращаясь домой, я шел по мрачным улицам через оккупированный Париж, и он представлялся мне менее живым и реальным, чем Москва и Петербург далекого прошлого.

Приступая к работе над трилогией, я предполагал ввести в роман историю, но я вовсе не собирался писать исторический роман. По моему замыслу, герои книги играют самые

незначительные роли в драме, в которую вовлечена их родина. Поэтому я старался показать Русско-японскую войну, Первую мировую войну и революцию через такие не связанные между собой события, которые мои герои могли пережить как затерянные в толпе свидетели, а не как главные действующие лица. Я исключил из состава исполнителей премьеров: генералов и вождей народного движения – и отдал предпочтение актерам на вторые роли. Я не позволял Истории вытеснять из моего повествования конкретные истории моих персонажей, или, точнее, я показывал Историю через судьбу каждого из них.

Разумеется, не могло быть и речи об издании подобного произведения в годы оккупации. Прежде всего, не было бумаги, а для печатания моей трилогии ее нужно было очень много. И потом, немецкая цензура не разрешила бы публикацию романа, действие которого происходит в России, пусть даже и при последнем царе. Так что я писал в никуда. Много раз я говорил себе, что рукопись моя никогда не будет закончена или погибнет при очередной бомбардировке. И действительно, первый том трилогии, «Пока стоит земля», был опубликован только после Освобождения в 1947 году, второй, «Сума и пепел», в 1948-м, а третий, «Чужие на земле», в 1950-м.

Мои самые близкие друзья, конечно, познакомились с трилогией задолго до ее выхода в свет. Я читал главу за главой Анри Пуадено, его горячее одобрение поощряло меня продолжать работу. Я показал также рукопись Клоду Мориаку, вернувшемуся из Малагара, и он восторженно отозвался о ней. Его юношеский пыл воодушевил бы и паралитика! В начале 1943 года он передал первую тысячу отпечатанных на машинке страниц на суд своего отца.

Франсуа Мориак проглотил их за два дня и пригласил меня к себе для беседы. В его большом с белыми стенами кабинете, все углы которого заполняли книги, было очень холодно. Слабый свет ненастного дня проникал сквозь стекла высоких окон. Мы устроились в соседней комнате, где чугунная печка, горбатая и черная, давала совсем немного тепла. Я неоднократно встречался с Франсуа Мориаком до войны и нашел, что он изменился со дня нашей последней встречи: исхудал, ссутулился, кожа приобрела пергаментный оттенок. На узком сухом лице сверкали лихорадочным блеском разного цвета глаза. Он сел, скрестил ноги, и тотчас принялся разбирать мою работу. Мнение его оказалось более чем благоприятным. Я перевел дух, грудь моя задышала свободнее. Похвалы, советы, критические замечания, произносимые его хриплым, прерывающимся голосом, взволновали меня больше, чем я предполагал. Я был счастлив,

что Франсуа Мориак говорит о моих героях как о живых людях, с которыми он расстался на время – для того, чтобы поговорить о них со мной. Он поделился своими планами, опасениями, признался, как трудно ему сосредоточиться на литературной работе, когда война сотрясает мир. «Если немцы победят, я откажусь от творчества, откажусь без сожаления, без гнева, – сказал он, – но они не победят! Я оптимист, я верю в победу над фашизмом». Его длинные костлявые пальцы уже крутили ручки радиоприемника: наступил час новостей Би-би-си. Сквозь треск помех прорвался к нам голос из Лондона. Франсуа Мориак склонил свою птичью голову, сложил, зябко поеживаясь, руки на коленях и весь обратился в слух. В конце передачи он вполголоса произнес: «Когда-нибудь нам, наверное, трудно будет поверить, что мы сидели вот так вдвоем в этой комнате, ловя слова надежды с той стороны моря. Как можете вы писать, услышав все это? Надо ждать, неизменно ждать…» Я не отрываясь смотрел на него в эту минуту и чувствовал, что никогда не забуду его печальное, встревоженное лицо, сумеречный свет, падающий из окна, и острый запах угля, тлеющего в печке.

Зажав под мышкой рукопись, я направился домой, охваченный гордостью оттого, что удостоился доверительных признаний Франсуа Мориака, и беспокойством, вызванным его словами о тщетности всякой писательской деятельности во времена лжи и бойни. Через несколько недель после этой встречи в одной из клиник Булони моя жена родила сына, Жана-Даниэля.

На другой день после его рождения район подвергся сильнейшей бомбардировке. Тревога следовала за тревогой. Только через два дня я смог зарегистрировать нашего ребенка в мэрии. В бюро записи актов гражданского состояния толпились несчастные плачущие люди, опознавшие в морге тела своих близких. Франсуа Мориак был прав: все труднее становилось заниматься красотами литературного стиля. С новорожденным младенцем на руках у меня было в два раза больше оснований бояться будущего.

В войне тем временем происходил перелом в пользу союзников. Освобождение Сталинграда, кампания в Тунисе, высадка в Сицилии, капитуляция Италии – все предвещало близкий конец войны. После взятия Рима очередь была за Парижем. И, наконец, высадка в Нормандии! Тем временем я оставил службу в префектуре, чтобы целиком посвятить себя моему роману, хотя у меня не было никакой уверенности в том, что он когда-нибудь увидит свет. Моя писательская работа и мое человеческое существование представлялись мне равно бесцельными. Все зависело от новостей с фронта.

С каждым сражением с запада к Парижу приближались войска союзников. Зенитная артиллерия отражала налеты невидимых самолетов. Парижане жили впроголодь, стояли в очередях и то и дело кидались к радиоприемникам. Я сам жил от сводки до сводки, как наркоман живет от укола до укола. Прошел слух, что союзники вступили в долину Шеврез. Помню, однажды громкие крики на улице оторвали меня от бумаг и книг. Люди вопили: «Вот они! Вот они!» Не помня себя, бросился я к освободителям, но увидел мчавшихся по улице гонщиков-велосипедистов в разноцветных майках. Собравшиеся люди аплодировали, кричали. С тяжелым сердцем я вернулся к себе. Я жил тогда в небольшом домике на авеню Гурго возле площади Перер. Париж задыхался от жары и пыли, умирал от тревоги. Немцы реквизировали велосипеды, метро не работало, и кварталы, почти не связанные между собой, превращались в захолустья; мало-помалу дух патриотизма воцарялся в мэрии, в церковном приходе, на улице – новая манера ощущать Францию. Сначала закрыли метро, потом прекратили подачу газа. Электричество отключали на весь день и включали в половине одиннадцатого вечера. Внезапно вспыхивали лампы, подавали голос радиоприемники. Сводки становились все более и более ободряющими. Но немцы упорно цеплялись за Париж. Полицейские бастовали, почтовики прекращали работу, газеты закрывались одна за другой в атмосфере всеобщего равнодушия – весь административный аппарат города трещал снизу доверху, и дезориентированные парижане задавались вопросом, как долго они смогут жить без руководителей, без продовольствия, в обстановке полного беспорядка в силу одной лишь привычки. Домашние хозяйки наполняли водой ванны, велосипедисты привозили на прицепах жалкие овощи, продавали их на скорую руку и быстро уезжали. Через громкоговорители, укрепленные на черных автомобилях, немцы объявляли: после наступления комендантского часа в девять часов вечера патруль будет стрелять в прохожих.

И вот густые толпы людей заполнили площадь Этуаль, чтобы присутствовать при бегстве оккупантов. На этот раз ошибки не было: они удирали. Поразительный парад: старые грузовики, санитарные автомобили, мотоциклы, танки, велосипеды, частные машины, нагруженные мебелью и буханками хлеба, машинистки в перемешку с солдатами – серо-зеленый поток, текущий по авеню к выезду из города вдоль расставленных немцами указателей. На следующий день на улицах шли бои. Из квартала в квартал новости передавались по телефону: «Они атакуют Военно-морское министерство… *ФФИ*[20] заняли ратушу и префектуру полиции…

„Мажестик“ осажден…» Однако бронетанковые войска генерала Леклерка запаздывали. Американцы, по слухам, решили двигаться в обход столицы. В течение пяти дней ФФИ держались за баррикадами из мешков с песком и булыжников, вывороченных из мостовой. Силы их были на исходе, боеприпасов не хватало. Смогут ли они удержаться, если немцы пришлют подкрепление? Не слишком ли рано они поднялись? Верно ли, что все станции метро, мосты, все общественные здания заминированы и по приказу немецкого коменданта Парижа город будет до основания разрушен? Вечером 24 августа я долго бродил по восставшему городу, вернулся домой вконец разбитый и снова сел возле радио. Неожиданно включили электричество, я повернул ручки приемника и услышал сдавленный от волнения голос: «Господа кюре, звоните во все колокола… Первые поздравления бронетанковой дивизии генерала Леклерка на площади Ратуши…» Я выскочил на улицу прежде, чем до меня дошел смысл сказанного. Вокруг царили мрак и тишина. Не ошибся ли я? На другой стороне улицы прогуливались консьерж с женой. Я бросился к ним: «Вы слышали?» Нет, они ничего не слышали, они не хотели мне верить и предложили подняться на крышу дома: там была терраса, возвышавшаяся над городом, и оттуда можно было лучше разобраться в обстановке. Несколько жильцов присоединились к нам. Мы поднялись на девятый этаж по черной лестнице, освещаемой карманным фонариком консьержа. На самом верху он открыл дверь, и я вышел на не огражденную перилами платформу. С вершины этой башни передо мной открылся ночной Париж, мрачный и грозный. Тусклые траншеи улиц разделяли блоки домов, трубы на крышах торчали, точно зубья гигантского гребешка. Ни огонька вокруг. И кладбищенское безмолвие. Лишь звезды поблескивают над мертвым городом. Но вдруг среди созвездий мелькнула ракета. Где-то вдали раздался тягучий и глухой звук металла – как будто звонил колокол затонувшего города. Гул его поднимался из глубины веков. Колокол замолк, но ему тут же ответили другие колокола. Из всех уголков города поднимался, рос, усиливался звон колоколов, возвещавших Освобождение. Как в ночь Рождества Христова. Вспыхивали, освещая крыши, трехцветные ракеты. Прожектора белой кистью разрисовывали небо. Слышалась пальба. А все эти люди внизу, спавшие в своих домах, – они еще не знали доброй вести! Как предупредить их? Я наклонился над бездной и увидел, что на улице, недавно темной и безмолвной, засветилось одно окно, затем другое, огоньки вспыхивали здесь и там. В кукольных квартирах заметались китайские тени, радиоприемники выкрикивали весть о победе, телефонные звонки прорывались

сквозь перегородки. Никогда бы я не поверил, что на такой высоте столь отчетливо будут слышны человеческие голоса, доносившиеся с нижних этажей. Словно я присутствовал при пробуждении игрушечного города. Теплая ночь, равнодушные звезды, звон колоколов, гул пушек, обрывки разговоров, пробивавшиеся сквозь общий шум, трехцветные ракеты в небе – все это было так сверхъестественно, что я стал сомневаться в реальности моего присутствия на крыше. И тут слева от меня, где-то вдалеке, детские голоса запели «Марсельезу». Изумившись, я вспомнил, что совсем рядом, на улице Эжен-Флаша, находится Дом юных певчих из общины «Деревянное Распятие». Собравшись в саду, они на свой лад славили Освобождение. Их чистые голоса возносились в восторге, объединявшем небо и землю. Никогда прежде «Марсельеза» не потрясала мою душу так, как сейчас – в великую ночь сражения и победы. Вокруг меня на крыше незнакомые люди поздравляли друг друга, смеялись, обнимались. Взволнованный до слез, я спустился к себе и позвонил родителям. Они все знали от соседей. Радость их была равна моей. Мать передала трубку отцу, и он тоже поговорил со мной. Долго по-русски они оба горячо обсуждали со мной первые признаки французского возрождения. Можно было подумать, что они присутствуют при освобождении Москвы. Сразу же я позвонил брату, Анри Пуадено, Мишель Моруа. Они уже все знали. Я не спал всю ночь…

На следующий день комендант Парижа фон Хольтиц подписал капитуляцию. В окнах домов выросли изготовленные на скорую руку тысячи знамен – французских, американских, английских. Немецкие пулеметчики, укрывшиеся в засадах, еще обстреливали с крыш жителей, но танки генерала Леклерка уже контролировали город. А 26 августа генерал де Голль возглавил торжественное шествие на Елисейских Полях посреди ликующего народа.

После Освобождения в Париж один за другим возвращались друзья. Вернулся Жан Давре, позже всех вернулся Жан Бассан: он был в составе 2-й бронетанковой дивизии и попал в плен к немцам. Что же до Клода Мориака, то можете представить, какова была радость нашей маленькой компании, когда мы узнали, что он стал личным секретарем генерала де Голля!

Наступил мир, но моя жизнь уже не была такой, как до войны. Во-первых, я развелся. Во-вторых, занялся журналистикой – совершенно новым для меня делом. Люси Фор перевела в Париж журнал «Неф», основанный ею в Алжире, и предложила мне временно вести в нем отдел театральной критики. Я согласился с благодарностью, но и с неуверенностью: я совсем не

был подготовлен к такого рода обязанностям. На одном из собраний сотрудников редакции «Нефа» я познакомился с Морисом Дрюоном. Волны победы вынесли его на берег с идеей газеты. Он сразу же заразил меня своим энтузиазмом. Двадцать восемь лет, ясный взгляд, золотистые волосы, рот оратора, ненасытная жажда жизни, железная воля, острое чутье потребности момента – Морис Дрюон был рожден для того, чтобы ниспровергать любые препятствия. После десятиминутной беседы мне казалось, что я знаю его лет десять. Сбежав из блестящего салона, мы продолжали беседу на берегах Сены. Мы обсуждали программу будущего еженедельника: у него не было названия, не было необходимых для издания денежных фондов, но зато нам были известны два его вице-директора. Время от времени я робко выражал сомнение, что в обстановке ограничений и бедности нам не удастся добиться разрешения на издание, требующее изрядного количества бумаги. Морис Дрюон отметал мои опасения с саркастическим смехом. У него есть связи, говорил он, и, что гораздо важнее, смелость. Никакие административные преграды ему не страшны. Мы опрокинем все общепринятые нормы и дадим, наконец, Франции газету, которую она давно ждет. И в самом деле, все устроилось: откуда-то появилось несколько отважных вкладчиков, где-то в верхах было подписано разрешение, Жан-Жозе Андрие, бывший главный редактор «Марианны», согласился стать главным редактором нашей газеты, получившей подпрыгивающее название «Кавалькада», и мы занялись подготовкой первого номера. Морис Дрюон мыслил крупномасштабно. Он предлагал газету, состоящую из многих выпусков, вложенных один в другой. Первый из них был бы посвящен политике, второй – литературе и искусству, третий – спорту и т. д., по образцу многостраничных американских газет. Все вокруг него протестовали, напоминали о временах экономии, но его красноречие побеждало самые обоснованные возражения. Как и следовало ожидать, «Кавалькаде» выделили ничтожное количество бумаги, и тяжелые специализированные выпуски, которые уже видел в мечтах Морис Дрюон, сократились до нескольких листков. Он разочарованно взвешивал их на руке, и печаль омрачала его лицо. Наперекор своему скелетоподобному облику «Кавалькада» стойко сопротивлялась детским болезням, сопровождающим всякую новую газету, приобретала читателей и несколько месяцев подряд успешно развивалась в окружении встревоженных пайщиков и восторженных сотрудников. Морис Дрюон налетал на нас, подобно урагану. Во внеурочное время он стремительно врывался в редакцию, наводил ужас на секретарш, заваливал их работой, звонил то в Осло, то в Нью-Йорк, чего-то

добивался, на что-то получал отказ, придумывал за день с десяток эффектных заголовков и с полсотни тем для статей, – словом, этот человек-оркестр изумлял и увлекал всю редакцию. В нашей газете он вел раздел внешней политики. Я взял на себя литературное руководство. По странному перераспределению ролей теперь в мои обязанности входило принимать начинающих, читать рукописи, одобрять или отвергать статьи и новеллы. Тяжелая, мучительная для меня ответственность. Но зато как радостно открыть новый, никому не известный талант. Словно вся свежесть мира ударяла вам в голову. Другая не менее достойная радость – убедить знаменитого и сдержанного собрата доверить вам неопубликованное произведение. Когда мне удалось уговорить задумчивого и молчаливого Марселя Эме написать для «Кавалькады» роман, я возвратился в редакцию вне себя от счастья, точно на долю одной из моих книг выпал неслыханный успех. Незаметно для меня еженедельник стал мне так же дорог, как мои собственные произведения. Совместная работа с Морисом Дрюоном и Жаном-Жозе Андрие была захватывающе увлекательна. Я приходил в редакцию и по вечерам: править статьи и составлять подписи под иллюстрациями. Я согласился даже вести раздел кинокритики. Между нами говоря, я абсолютно не разбирался в этом вопросе. Моя кинематографическая культура была на уровне самого среднего зрителя. Поэтому для оценки фильмов я выбрал не критерий технического мастерства, а то удовольствие, которое он мне доставит. Я старался быть как можно более объективным в похвалах и порицаниях, но каждый раз, когда мне случалось критиковать работу режиссера или актера, меня мучили угрызения совести при мысли о том огорчении, которое причинит им моя статья. Необходимость писать о фильме отчет гасила интерес к зрелищу, когда я находился в темном зале. Я не замедлил убедиться, что никогда не овладею ремеслом критика. Мое уважение к тем, кто из года в год с увлечением, твердостью и знанием дела занимается этим ремеслом, неизмеримо возросло.

Для ведения раздела театральной критики в «Кавалькаде» я пригласил Жан-Жака Готье, который был известен статьями в «Фигаро». К тому времени я написал пьесу «Живые», Раймон Руло ставил ее в театре Вьё-Коломбье. Первая статья Жан-Жака Готье для «Кавалькады» и была посвящена этому спектаклю. Он принес мне рукопись, и я с грустью констатировал, что это был мастерский и убийственный разнос. Без сомнения, Жан-Жаку Готье потребовалось немало мужества, чтобы так расправиться с литературным директором газеты, в которой он собирался выступить впервые. В сопроводительном письме он, впрочем,

оставлял за мной право не публиковать статью, дабы не произвести дурного впечатления на читателей еженедельника. Вокруг раздавались голоса, склонявшие меня последовать этому совету. Но мое решение было принято с первой же минуты: важно, чтобы текст появился без всяких изменений и подтвердил независимость критики от дирекции газеты. Вот так и получилось, что самая свирепая статья о моей пьесе появилась на страницах моей собственной газеты. Мои отношения с Жан-Жаком Готье нисколько не пострадали. Напротив! Думаю, что тогда и родилось наше взаимное уважение.

– Критика «Живых» была справедливой?

– На пьесе сказалась моя неопытность, но, думаю, не до такой степени, чтобы забраковать ее целиком. Впрочем, кроме критических были и похвальные суждения. Пресса, как принято говорить, разделилась. Содержание пьесы очень простое. Действие происходит в Италии в эпоху Возрождения во время эпидемии чумы. Группа людей, бежав из Флоренции, собирается в замке одного богатого банкира. Чудотворная статуя святого Роха охраняет замок от чумы. За запертыми воротами замка эта обособленная группа ведет эгоистическую жизнь, утопая в роскоши и соблюдая условности, и не задумывается о смерти, опустошающей окрестности. Но банкир отказывается приютить кучку беженцев, приведенную монахом, и тот насылает на него страшное проклятие. Разражается ужасная буря, статуя святого Роха разлетается на куски, ворота распахиваются, и в замок врывается ветер, несущий чумную заразу. Внезапная угроза смерти вызывает панику среди гостей банкира, маски благопристойности спадают и каждый обнаруживает свою подлинную натуру: у края могилы начинается отвратительное состязание лицемеров. Однако опасность предотвращена, и гости банкира, позабыв самые бесстыдные из своих саморазоблачений, вновь скрываются за привычными масками. Тему пьесы подсказало мне поведение некоторых людей, укрывшихся за своими привилегиями от кошмаров войны. Так что содержание пьесы было злободневным, несмотря на нарядные костюмы актеров. На мой сегодняшний взгляд, главные недостатки «Живых» – статичность действия, излишняя цветистость слога и легкая угадываемость ситуаций. Как бы там ни было, Раймон Руло, прочитав пьесу, провозгласил меня гением. Ему виделось грандиозное зрелище в цветовой гамме Апокалипсиса и с непрерывно звучащей музыкой, достойной богов. Не без труда я уговорил его не делать из моей пьесы «говорящую» оперу. Своей властью он распределил роли: Мишель Альфа, Франсуаз Люгань, Поль Деманж, Жерар Ури, Габриэль Фонтан, Дани Робен, Жак

Дюваль, Франсуа Ланье и он сам. Декорацию я представлял себе в виде зала в мрачном, надежно укрепленном замке, где персонажи действительно чувствовали бы себя в безопасности. Раймон Руло решил перенести действие на террасу замка, под открытое небо, и обыграть плывущие по небу облака. Я так верил в его талант, что позволил себя убедить. На репетициях меня завораживало превращение текста моей пьесы в сценическое Действо. Персонажи, всего лишь обозначенные придуманными мною именами, воплощались в людей из плоти и крови, а написанные на бумаге фразы – в живую человеческую речь. Опишет ли кто-нибудь восторг автора, который впервые видит, как оживают его герои, и слышит, как его слова произносят человеческие голоса? Если этот автор, как я, полностью полагается на «специалистов», он мало-помалу потеряет всякую критичность. Восхищенный свершавшейся на моих глазах материализацией моего вымысла, я до головокружения упивался счастьем – постановкой его на сцене. Я с одобрением принимал все предложения режиссера и по его просьбе выбрасывал или добавлял в текст реплики. Раймон Руло смеялся и называл меня «чемпионом поправок», и я был горд этим. Его требовательность к актерам доходила до жестокости. Он горячо и нетерпеливо растолковывал им, какой глубокий смысл вложен в каждого персонажа, заставлял до бесконечности повторять одни и те же сцены, грубил им, оскорблял их, умолял и извлекал из них, доводя до нервного срыва, все заложенные в них возможности. Раз десять Мишель Альфа отказывался от своей роли и вновь соглашался ее играть; ссоры актеров с режиссером кончались потоками слез, непритворными обмороками, радостными примирениями. Однако по мере того, как пьеса принимала сценическую форму, я все сильнее чувствовал, что она отделяется от меня. Знакомые, раз за разом повторяемые фразы убаюкивали, и я переставал ощущать их своими произведениями. Они принадлежали исполнителям, режиссеру, электрикам, машинистам сцены, они принадлежали будущим зрителям. На генеральной репетиции страх парализовал меня. Занавес поднялся, и открылась великолепная декорация, написанная Майо. Костюмы, сделанные по его рисункам, ослепляли роскошью. Музыка Жан-Жака Грюненвальда наполняла зал гармоническими звуками. В этом пышном обрамлении мой текст вдруг показался мне убогим. В конце первого акта разразилась буря, символизирующая гнев божий, – наверное, прекраснейшая из бурь, которые видел Париж за двадцать веков своего существования. Музыка Грюненвальда неистовствовала, гром гремел, косматые черные тучи неслись по нарисованному на холсте небу, ураган, производимый мотором марки «5 CV», рвал

драпировки, свет гас, молнии прорезали мрак, и публика, пригвожденная к своим креслам, ждала, не разверзнется ли под ней земля. Занавес упал, раздался шквал аплодисментов, но я понимал, что эти аплодисменты предназначались не автору, а режиссеру. И, в самом деле, во втором акте зрители, войдя во вкус, ожидали увидеть катаклизм еще более шикарный. А я-то надеялся заинтересовать их не пертурбациями в атмосфере, а конфликтами характеров! Я не замедлил признаться себе, что землетрясение в начале спектакля увлекло их больше, чем изощренная психология персонажей. К финалу спектакля, когда гитарист, изображавший смерть, уносит на руках Дани Робен, облаченную в умопомрачительное белое платье, творение самого Рокаса, Раймон Руло подготовил дымовой эффект. Когда дым, заполнив сцену, пополз в зал, первые ряды кресел опустели: зрители, а среди них было немало известных критиков, кашляя, торопливо пробирались к выходу.

Несмотря на дурное начало, судьба пьесы была вполне достойной. В 1949 году я передал Буфф-Паризьен другую пьесу – комедию в трех актах «Себастьян». Отклики прессы были более теплыми, чем на «Живых». Затем я переделал для сцены роман «Живорыбный садок» – эту, третью, пьесу я считаю самой удачной. Она была поставлена в провинции, за границей, а на французском телевидении сыграна двумя великолепными актрисами – Франсуаз Розей и Берт Бови. Их работа порадовала меня редким совпадением авторского вымысла и его театрального воплощения. Тем не менее я не стал упорствовать и оставил этот путь. Я настолько привык работать в одиночестве в тиши кабинета и полновластно распоряжаться своими персонажами, что теперь боялся обречь свой текст на неизбежную деформацию – исполнением, режиссурой, декорациями и быть судимым не за то, что сделал я, а за то, что сделали для меня… или из меня! Изданный роман неизменен, пьеса – предлог для беспрерывных искажений, которые вносит актерское исполнение. Хороший роман, напечатанный на самой скверной бумаге, не теряет ни одного из присущих ему качеств; хорошая пьеса, сыгранная плохими актерами, становится неузнаваемой. Да, в театре романиста, привыкшего к полной свободе действий, на каждом шагу подстерегают ловушки, и все же ничто так не привлекает его, как совместная работа с какой-нибудь группой людей. Сам того не подозревая, писатель, покидая кабинет, ищет прямого контакта с публикой. Ведь писатель пишет для людей, которых не видит. Конечно, когда книга выходит из печати, он читает отклики прессы, хвалебные или ругательные, он получает письма читателей. А все остальные? Тысячи других,

склонившихся над его книгой, что думают они о его героях и о нем самом? Он никогда этого не узнает. И он жгуче завидует драматургу, который на каждом спектакле, если хочет, видит перед собой множество зрителей – каждый вечер новых. Это счастливый человек: он слышит смех, вздохи, нетерпеливый кашель, аплодисменты тех, кто пришел сюда, привлеченный его именем на афише. Спрятавшись в темноте за кулисами, он, не сходя с места, ощущает биение пульса публики. И успех, и провал он чувствует непосредственно, физически. И в том, и в другом случае какой импульс для автора!

– И вы больше не будете писать для театра?

– Надеюсь, что буду. Но заранее боюсь разочарования, которое меня ждет.

– В 1946 году была поставлена ваша пьеса «Живые» и тогда же вы опубликовали фундаментальную биографию Пушкина. Что побудило вас рассказать о творчестве и судьбе поэта, так мало известного во Франции и так трудно поддающегося переводу на французский язык?

– В России Пушкин – источник творчества и начало литературного пути каждого писателя. Если можно изучать французскую, английскую, немецкую литературу, не обращаясь постоянно к одному и тому же прозаику или поэту, чтобы понять произведения писателей последующих поколений, то совершенно невозможно заниматься великими классиками русской литературы, не возвращаясь вновь и вновь к Пушкину, – ему они обязаны всем. Разумеется, в России и до Пушкина была литература, но великая русская литература родилась именно с ним. Его предшественники стремились подражать западным образцам; писали они по-русски, но мыслили по-французски. Пушкин был первым, кто и мыслил, и писал по-русски. И с каким блеском, вдохновением, с какой стремительностью писал! Предчувствовал ли он, как коротка будет его жизнь? Исключительное жанровое многообразие его произведений позволяет в это поверить. Убитый на дуэли в январе 1837 года в возрасте всего лишь тридцати семи лет, Пушкин успел проложить пути во всех направлениях литературы – по ним устремились потом его прославленные наследники. Ибо Пушкин не только величайший лирический поэт своего времени. Русской драматургии, тогда совсем бедной, он дает «Бориса Годунова» и четыре маленькие трагедии, которые у него не было ни времени, ни намерения разрабатывать детально. В «Бунте Пугачева» он обращается к русской истории, в сказках «Царь Салтан» и «Золотой петушок» – к народной поэзии, в «Капитанской дочке» создает русский исторический роман, в «Пиковой даме» – роман

фантастический… «Все мы вышли из гоголевской шинели», – говорил Достоевский. Но разве сама «Шинель» Гоголя вышла не из пушкинского «Станционного смотрителя» и разве не Пушкин отдал своему младшему собрату по перу сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ»? Лермонтов нашел свою собственную дорогу в литературе, пройдя через подражание Пушкину. Тургенев всю жизнь поклонялся Пушкину, и разве не Татьяна, героиня поэмы «Евгений Онегин», вдохновляла его, когда он создавал в романах образы русских девушек? И разве не «Пиковая дама» источник «фантастического реализма» Достоевского? Наконец, «Война и мир» Толстого разве не является гениальной «оркестровкой» тем, намеченных Пушкиным в «Капитанской дочке»?

Пушкин не только торопился писать, он торопился и жить. Что за хаос вся его жизнь! Любовные увлечения, мгновенные и мимолетные, женщины, сменяющие одна другую, страсть к игре, неповиновение царской власти, ссылка в деревню за сатирические стихи, возвращение из ссылки «по милости» вступившего на трон деспотичного Николая I, женитьба на юной красавице с пленительным взором и пустой головой, преследования полиции, светские развлечения, ревность… Блестящий французский офицер, принятый на службу в русскую армию, настойчиво ухаживает за женой поэта. Оскорбительные анонимные письма вынуждают Пушкина послать наглецу вызов, и величайший русский поэт гибнет, сраженный пулей иностранца. Сумбур в жизни, сдержанность в творчестве. Поразительный контраст! Если бы Пушкин писал так, как жил, он стал бы поэтом-романтиком, не имевшим себе равных по силе поэтического вдохновения. Если бы он жил так, как писал, он был бы человеком уравновешенным, чувствительным и счастливым. Он не был ни тем, ни другим. Он был Пушкин. На пороге великой русской литературы, пророческой и исполненной сострадания к маленькому человеку, стоит этот пылкий, дерзкий, безрассудный человек – человек, который не рассчитывает свои действия, но зато взвешивает слова. Пушкин, быть может, единственный писатель во всей мировой литературе, сумевший соединить в своем творчестве две противоположные тенденции: простоту формы и новаторство содержания. Этот виртуоз считал своим долгом быть выше своих возможностей. Он скорее подсказывал, чем показывал. Нередко я изумлялся, обращаясь к тексту Пушкина, что некоторые отрывки из поэм или прозы, помнившиеся мне как весьма пространные, на самом деле содержали всего несколько строк.

Изучая жизнь Пушкина, обнаруживаешь его роман с Европой. Он тосковал по Западу, мечтал побывать во Франции, Италии, Англии, Испании и не раз обращался к этим странам в своих

произведениях. Но деспотичный Николай I запрещал ему покидать пределы России. На Пушкина сильно повлияли французская и английская литературы, и он двадцать лет боролся, искореняя это влияние. Он томился в России, но хотел быть только русским. На французском языке он написал первые стихи и пал от руки француза.

«Переводить с языка, в котором каждое слово бриллиант – значит впасть в отчаяние», – заметил как-то Мельхиор де Вогюэ. Я убедился в этом на собственном горьком опыте. Мне хотелось включить в книгу многочисленные отрывки из поэм и стихотворений Пушкина, и я отважился перевести их белым стихом. Но русский – язык подвижного ударения, его мелодия основана на выделении сильных слогов. Французские же слова, даже очень тщательно подобранные, создают более приглушенное, более однообразное звучание. Другая трудность: словарь русского языка, как я уже говорил, проще, но и богаче и сочнее французского, и, мне думается, прекрасный французский текст меньше утрачивает в переводе на русский, чем прекрасный русский текст в переводе на французский.

Богатый и страстный язык наложил отпечаток на само мышление русских писателей. Словарь русского языка изумительно служит поэту. Он превращает поэта в мага, в волшебника. Русский философ, напротив, испытывает трудности, когда ему нужно развить систему своих доказательств в сжатой форме. Самые отвлеченные идеи оказываются из-за особенностей языка, в который философ их облекает, окрашенными его личным чувством. Диалектика этого чувства – прежде всего страсть. Насколько это верно, видно из того, что большинство русских писателей в своих духовных исканиях неизменно обращаются к одним и тем же вечным вопросам человеческого бытия: Бог, душа, смерть, добро, зло…

Словесный материал, которым они располагают, побуждает их не постигать и объяснять, а проникать в душу, вторгаясь в ее самые сокровенные глубины. Отсюда впечатление монотонности – навязчивой, мучительной. Когда французские писатели берутся за исследование метафизических проблем, ими движет намерение приложить какую-нибудь новую теорию к старой теме. Техническое совершенство их языка побуждает их анализировать, разделять, разъединять, тогда как русский рассматривает проблему в целом. Когда русский погружается в сложные повороты *ищущей* мысли, он заменяет логику чувством, а рассудок – порывом сердца. Француз, напротив, никогда полностью не отступает от логики, разума. Пушкин еще в 1824 году говорил, что в России не существует «метафизического

языка». И, действительно, самые великие ее мыслители – романисты, которые выражают свои идеи через духовные муки своих персонажей. Но именно поэтому все их теории, какими бы противоречивыми они ни были, всегда согреты жарким дыханием самой жизни.

Благоговейно и бережно переводил я стихи Пушкина, но все же из опасения слишком далеко отойти от текста оригинала я, конечно, и упростил, и обеднил их. Французы лишь тогда прочтут настоящего Пушкина, когда большой поэт переведет его поэмы, не заботясь о последовательности русских слов, но с достаточным талантом воссоздав музыку стиха.

Другое обстоятельство. С самого начала работы над книгой я понял, что мне не удастся раскрыть драму Пушкина, не приведя в движение вокруг него пеструю толпу его друзей и преследователей. Чтобы оживить сотни лиц, сотни перекрещивающихся судеб, я погрузился в документы эпохи. Я изучал костюмы, карточные игры, кулинарные вкусы, закулисные сплетни – весь круговорот литературной и светской жизни тогдашнего общества. Я снова окружил Пушкина атмосферой его времени. С упоением возрождал я к жизни все эти второстепенные персонажи. Словно течение подхватило меня и перенесло в иную эпоху…

В июне 1945 года, когда я уже правил рукопись книги, я получил письмо от барона Дантеса де Геккерена, внука человека, убившего на дуэли поэта. Он знал о моей работе и в высшей степени учтиво уведомлял меня, что владеет несколькими документами, которые могли бы быть мне интересны. Однако многочисленные и тщательные поиски неизвестных документов пушкинской эпохи, предпринимавшиеся советскими и западными пушкинистами, не оставляли мне никакой надежды найти хоть что-нибудь неизданное. Тем не менее я согласился встретиться с моим корреспондентом. Он принял меня в своей парижской квартире на улице Шоффер любезно, но и обеспокоенно: до сих пор его задевало все, что напоминало о насильственной гибели Пушкина. Всякий раз, как кто-нибудь намеревался снова разворошить эту грязную и кровавую интригу, семья Геккерен-Дантес снова чувствовала себя запятнанной. Я понял это, сидя в гостиной барона между хозяином и его супругой. На стенах висели портреты, миниатюры, гравюры, изображавшие героев драмы. Сразу же мы перешли к существу дела. Барон Геккерен, высокий старик с энергичным лицом, крепкий и плотный, расспросил о моей концепции событий, возразил мне по некоторым пунктам и, наконец, показал три-четыре неизданных, но не представлявших особого интереса письма. Я согласился

оставить ему машинописную копию своей книги и расстался с ним весьма разочарованный. Через несколько дней он позвонил мне и сказал, что чтение моего труда заставило его с новой силой пережить всю эту историю и что он желал бы незамедлительно поговорить со мной. Я поспешил к нему, и он взволнованно признался, что не спал всю ночь, мучимый укорами совести: он действительно хранит несколько писем, касающихся «дела», но ни его отец, ни он сам никогда никому их не показывали из опасений, что ими могут дурно воспользоваться. Ввиду важности моей работы он готов позволить мне ознакомиться с этими документами, но при одном условии: я ни словом не упомяну о них в книге. Произнеся эти слова, он вынул из папки несколько пожелтевших листков бумаги, исписанных мелким почерком, и разложил их передо мной на столе. По первым же строчкам я понял, что передо мной письма Жоржа Дантеса к его приемному отцу барону Геккерену и что Дантес говорит в них о своей любви к Натали Пушкиной.

До сих пор биографы Пушкина строго судили и молодую женщину, равнодушную к страданиям своего гениального супруга, и ретивого офицера, развлекавшегося, нарушая семейный покой супружеской четы, в надежде вписать еще одно имя в список своих побед. Говорили о запутанной светской интриге, о преступном легкомыслии. Одна фраза из замогильного мира на моих глазах разрушила эту теорию. Жорж Дантес признавался черным по белому в своей «безумной любви» к Натали, писал, что Натали тоже страдала: поговорить с ним она могла лишь «между двумя турами контрданса». В другом неизданном письме Дантес рассказывал, как умолял Натали стать его любовницей и с каким достоинством и печалью она ответила ему отказом.

Как хрупки исторические реконструкции! Биограф воссоздает жизнь своего героя по нескольким известным ему сведениям, и достаточно одного письма, обнаруженного слишком поздно, чтобы внезапно открылась истина, вероятно, тоже не окончательная. Новое ви́дение трагедии воодушевило меня, и повергло в смятение. Я принялся упрашивать барона Геккерена позволить мне опубликовать письма в моем исследовании. После долгого обсуждения, во время которого мне пришлось преодолевать одно за другим его колебания и сомнения, барон согласился сделать для меня под его контролем копии с тех писем, о которых он до сих пор никому не сообщал. Его жена села за машинку. Мы стояли возле нее, пока она печатала. Когда она кончила и я спрятал свое приобретение, беседа возобновилась с еще большим оживлением. Мой хозяин говорил о мертвых героях

драмы с такой горячностью, словно они были его близкими друзьями. Словно трагедия произошла накануне. Двор и город в волнении. Пушкина только что похоронили. Мы не в парижской квартире, а в Петербурге, в самом центре скандала… Впоследствии по приглашению барона я посетил городок Сульц в департаменте Верхний Рейн, где похоронены члены семьи Геккерен. Там мне тоже удалось собрать кое-какие сведения. В свете всех этих находок я переработал книгу. Письма из архива барона де Геккерена, само собой разумеется, были в нее включены.[21]

Книга вышла в свет, но образ Пушкина не оставлял меня. Пять лет спустя я вернулся к нему, работая над биографией другого русского поэта – Михаила Лермонтова. Трагический конец сблизил судьбы этих двух поэтов. Невозможно было рассказывать об одном, не вспоминая другого. Пушкин был кумиром Михаила Лермонтова, молодого офицера, выпускника Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Стих Лермонтова в поэмах «Боярин Орша» и «Песня про купца Калашникова» и в стихотворении «Бородино» столь же отточен и вдохновенен, как и стих его великого учителя. Узнав об ужасном конце боготворимого им поэта, с которым ему так и не пришлось встретиться, Лермонтов в порыве горя и гнева написал стихотворение «На смерть поэта», в котором заклеймил высший свет, виновный в гибели Пушкина на дуэли. За это стихотворение Лермонтов был арестован, судим и отправлен на Кавказ в драгунский полк. Той же самой дорогой, ведущей в южные районы России, несколькими годами раньше следовал и Пушкин, сосланный, как и Лермонтов, на Кавказ за эпиграммы и стихотворения против властей. Так, отомстив за честь своего учителя, этот безвестный офицерик вызвал симпатии множества читателей, но и недоверие правительства. Он наследовал Пушкину в восхищении одних и ненависти других. И принял наследство целиком.

Завоевание русскими Кавказа натолкнулось на ожесточенное сопротивление горцев. В этом крае, воспетом до него Пушкиным, Лермонтов испытал новый прилив поэтического вдохновения. Его самые прекрасные поэмы «Мцыри» и «Демон» и роман в прозе «Герой нашего времени» были задуманы и частично написаны в атмосфере маршей, контрмаршей, бивуаков, кровопролитных стычек. Публикация его произведений принесла корнету Лермонтову быструю славу. Лермонтов был признан «вторым Пушкиным» и получил разрешение вернуться в отпуск в Петербург. Там, в одном из салонов, он встретил Натали, вдову Пушкина. Через день он вновь уезжал на Кавказ. Не странно ли,

что женщина, кокетство которой возбудило ревность Пушкина и привело его к барьеру, теперь пожелала Лермонтову – преемнику Пушкина – счастливого пути и скорого возвращения? Опять он вступал на путь, уже пройденный Пушкиным. Мрачное предостережение было напутствием ему. Прибыв на Кавказ в 1841 году, он сказался больным, чтобы оправдать свое пребывание на целебных водах Пятигорска. В Пятигорске, как и в Петербурге, его выпады против светской группировки, прежде толкнувшей Пушкина к ужасной развязке, сплотили против него нескольких его опасных врагов. Во время одной из ссор бывший сотоварищ по Гвардейской школе вызвал Лермонтова на дуэль и убил его. Как Жорж Дантес убил Пушкина. С интервалом в четыре года. Пушкин погиб в 37 лет. Лермонтов в 27.

В этой короткой судьбе удивительнее всего то, что смерть ворвалась в нее не случайно. Перипетии жизни Лермонтова как будто подготовлены слишком старательным романистом, который, нагнетая роковые приметы вокруг своего героя, умело подготавливает читателя к трагической развязке. Разные дороги, которые поэт мог бы выбрать, чтобы избежать катастрофы, одна за другой закрываются перед ним. Он неизменно ступает на самую опасную. Он совершает именно те поступки, которые неотвратимо ведут его к гибели. Словно тень Пушкина толкает его в спину.

– Ваша книга о Лермонтове появилась в 1952 году. Вернемся ко времени опубликования вашей книги о Пушкине. После путешествия во времени по следам автора «Евгения Онегина» вы предоставили себе своего рода отпуск, чтобы совершить путешествие в пространстве. Вас очень влекли Соединенные Штаты Америки.

– Совершенно верно. Соединенные Штаты вышли из войны победителями. В нескончаемые годы оккупации мы, нищие европейцы, бредили их могуществом, богатствами, их щедротами. Прямые контакты с этой страной были надолго прерваны, и в 1947 году не было ни одного француза, который не мечтал бы своими глазами увидеть «американское чудо». Кроме того, в Нью-Йорке жила моя сестра, в годы войны наша переписка прервалась, и мне не терпелось увидеться с ней. Я как раз получил приглашение Майлз-колледжа в Окленде, в Калифорнии, прочесть курс лекций в период летней сессии. Я принял это предложение с энтузиазмом. Сначала я приехал в Нью-Йорк. Попав сюда из обескровленной войной Франции, я был изумлен бесчисленными признаками процветания, которые бросались в глаза. Роскошные автомобили, залитые огнями витрины, ломившиеся от изобилия самых разных предметов: рубашки,

обувь, ветчина, масло, сигареты, фрукты. Небоскребы с их суровой архитектурой совершенно подавили меня, но улицы оставляли впечатление удручающей безликости. Из этого гигантского города, ставшего столицей мира, Франция виделась мне особенно маленькой, пленительной, очень уязвимой и как никогда дорогой. День ото дня я учился понимать этот удивительный народ, в характере которого соединялись грубость и простодушие, дисциплинированность и беспечность, внешняя приветливость и внутренняя жесткость. По правде говоря, обстановка, в которой я находился, была плохой школой: я жил у сестры и зятя и общался главным образом с русскими эмигрантами. Все они приняли американское гражданство и с пылом, достойным потомков первых переселенцев, рассказывали по-русски о своей новой родине. Впоследствии я не раз имел случай убедиться в изумительной способности Соединенных Штатов к абсорбции. Крылась ли причина этого в климате, пище или в системе образования и средствах массовой информации или, может быть, в архитектуре и языке? Но иностранцы, прожив недолго в этой стране, легко утрачивали свои национальные особенности и воспринимали образ мыслей и образ жизни людей, среди которых жили. От их подлинной природы сохранялись лишь некоторые семейные традиции да пристрастие к определенной кухне. Дом моей сестры велся, понятно, как и дом моих родителей, по русским обычаям. Здесь я открыл для себя другой образ жизни на чужбине: не под трехцветным знаменем Франции, а под звездным флагом США. Балетная студия сестры примыкала к ее квартире, и в двух шагах от гостиной, где мы оживленно обсуждали политические и социальные проблемы, юные балерины, тяжело дыша, упражнялись под нестройные звуки фортепиано.

Проведя в Нью-Йорке несколько недель, я отправился в Лос-Анджелес, но решил проделать этот долгий путь (четыре тысячи километров!) не быстро и удобно на самолете, а поездом, чтобы пересечь Америку с севера на юг. Я смог таким образом и любоваться великолепными панорамами, открывающимися из окна, и завязывать знакомство с попутчиками, похожими на героев знаменитых кинобоевиков. С кинопроизводством я познакомился в Лос-Анджелесе, где, само собой разумеется, посетил огромные студии Голливуда, повстречал огромное число кинозвезд и проглотил огромные порции hamburgers.[22]

Затем по воздуху я добрался до Сан-Франциско. В Окленде меня ждал знаменитый Майлз-колледж со своим парком, бассейном, Французским домом, coffee shop[23] и студентами всех возрастов и национальностей, приехавших сюда изучать

«французскую цивилизацию», стилистику, географию, вышивание и музыкальную композицию. Лекции отнимали у меня немного времени, читал я их по-французски. Мои слушательницы неважно знали язык, но прилагали максимум усилий, чтобы его освоить. Я был признателен им за усердие, так как знал, что число пансионеров Французского дома сильно сократилось после разгрома Франции.

Я, наверное, скучал бы в Майлз-колледже, если бы не познакомился с Дариусом и Мадлен Мило. Они обосновались в колледже с 1940 года, он – как преподаватель композиции, она – как преподаватель дикции. Ученики и коллеги обожали их, видя в них представителей Франции, идущей, казалось, к гибели. Двери их дома были всегда гостеприимно распахнуты. Я был уверен, приходя к ним, что обязательно наткнусь на какую-нибудь девицу, шарящую в холодильнике или со слезами на глазах поверяющую Мадлен свои сердечные огорчения. Из радиоприемника вырывались звуки джаза, на лестнице кто-то бил в барабан, а за столом для бриджа, заваленном бумагами, сидел, склонив свою прекрасную голову добродушного льва, Дариус Мило и невозмутимо работал над новой симфонией.

С грустью я расставался с четой Мило и своими ученицами.

И тут одна американская пара предложила отвезти меня из Окленда в Нью-Йорк на машине, и перспектива проехать с частыми остановками через всю страну вытеснила сожаление от расставания с Калифорнией. На обратном пути из машины я увидел гораздо больше, чем из окна поезда. Необычайные картины развертывались передо мной: целые леса секвой, выжженные солнцем пустыни, нагромождения скал, словно нарочно созданные для съемки вестернов, отвесные крутые пропасти, фантастические реки, сумрачные озера, неистовые гейзеры, дикие животные в Иллинойском парке. Изредка попадались на нашем пути и поселки. Деревянные, выкрашенные в белый цвет домики, квадратные газоны и неоновые вывески, рекламирующие несравненные качества кока-колы или какого-нибудь местного блюда, делали их похожими друг на друга как две капли воды. Я не переставал поражаться контрасту между дикой буйной природой и прозаичностью усеявших ее человеческих поселений. На ночлег мы останавливались у друзей четы, с которой я путешествовал, – такие пристанища были у них чуть ли не по всей стране. Гостеприимство людей, которые нас принимали, было тем более удивительным, что наш приезд являлся для них неожиданностью. Никто никогда не отказывал нам ни в крове, ни в пище. Может, в американцах еще был жив дух первых поселенцев? Я легко верил в это: открытый дом и

полный холодильник всегда были наготове, чтобы встретить незнакомого гостя. Вернувшись во Францию, я еще долго чувствовал себя как человек, который за один вечер проглотил слишком много разных напитков. Париж казался мне теперь небольшим провинциальным городком, невзрачным и тихим.

Я рассказал о своем путешествии в США в книге «Жилище дядюшки Сэма». Это стремительный, ироничный, дерзкий репортаж, утративший со временем многое из того, что тогда представляло интерес, – ведь Соединенные Штаты так изменились с 1947 года! «Жилище дядюшки Сэма» печатался в виде фельетонов в «Кавалькаде». Наша «Кавалькада» спотыкалась все чаще. Журнал завоевал признание, но приносил убытки. Лица вкладчиков все более вытягивались. Наконец они приостановили свои взносы. Наша редакция распалась. Так кончился мой журналистский опыт.

Произошла в моей жизни и другая важная перемена: я встретил ту, которая стала моей женой. Гит внесла в мою жизнь очарование, фантазию, мужество, иронию, живость – нечто в высшей степени французское. Ее муж, врач из Шамони, погиб в стычке «маки́» с немцами во время освобождения района. Когда я познакомился с ней в Париже, она была целиком под впечатлением тяжелой утраты и не думала о будущем. Наше бракосочетание состоялось в 1948 году. У Гит росла десятилетняя дочь Минуш, она стала и моим ребенком. Мы устроились в доме на авеню Гурго. Первые месяцы нашей совместной жизни прошли в устройстве на новом месте, в покупке автомобиля. Собака, а потом и кошка дополнили наш домашний уют. Гит прекрасно понимала наших четвероногих жильцов, без усилий проникала в тайны их поведения, и благодаря ей я узнал, как согревает человека дружба с животными. Сколько жизни вокруг меня после стольких лет одиночества! Рядом с Гит я заново учился жить, или, вернее, жизнь приходила ко мне через нее, профильтрованная ею, и я мог, наконец, отведать самую ее сущность. Как человек, который не любит многолюдья и предпочитает уединение, чтобы писать, я бессознательно рассчитывал, что через нее буду поддерживать контакты с реальной жизнью. Когда она возвращалась из города и оживленно рассказывала, что видела и слышала, мне казалось, что стены моего кабинета исчезали и я сам участвовал в происшествиях, которые случались во внешнем мире. Кроме того, Гит стала для меня суровым критиком, суждения которого непререкаемы. Я привык читать ей главу за главой, а потом мы очень откровенно обсуждали написанное. Я отстаивал каждую строчку своего текста, но чаще всего соглашался с ее мнением. Бесспорно, она в самом начале работы

замечала недостатки, которые я бы заметил лишь спустя некоторое время. Писатель не осознает погрешностей текста, только что вышедшего из-под его пера, тогда как они ясно видны беспристрастному читателю. Практика непрерывного интеллектуального общения привела к тому, что мы, она и я, с самого начала стали жить в окружении моих персонажей. Они занимали наши мысли, как живые люди, мы часами говорили о них, радовались, если они удивляли нас каким-нибудь неожиданным поступком. И по сей день – даже больше, чем прежде, – я не могу обходиться без участия жены в моих художественных вымыслах. Но жена не единственный мой цензор. Мои друзья, как и прежде, читают мои рукописи, как и прежде, ставят свои крестики на полях, и я, как и прежде, признателен им за непреклонность суждений.

Опубликовав последний том трилогии «Пока стоит земля», я в 1951 году принялся за небольшой роман из французской жизни – «Голова на плечах». Меня давно интересовала история Жозефа Лебона. В 1794 году он был назначен комиссаром Конвента в департаменте Па-де-Кале и, охваченный революционным рвением, наводил ужас на весь край массовыми смертными казнями, пока сам не погиб на эшафоте. Жорж Ленотр[24] рассказывает на нескольких страницах о судьбе сына Лебона, которого на протяжении всей жизни преследовало воспоминание о неистовом отце. Первоначально я намеревался написать роман, где мог бы проанализировать душевное состояние сына одного из таких поставщиков для гильотины. Затем, неожиданно, я решил перенести эту ситуацию в современность. Из сына террориста 1794 года мой герой превратился в сына убийцы 1944-го, и кризис в его сознании порождался обстановкой не послереволюционной, а послевоенной эпохи. Он стал одним из тех отмеченных войной подростков, сбитых с толку, обуреваемых сомнениями, которых кое-как воспитывали в хаосе оккупации и освобождения. Вдумайтесь в судьбу мальчиков, которым было в ту пору по десять, двенадцать лет. Они на собственном опыте познали, что в мире, в котором они живут, нет ничего прочного, даже просто уважаемого. Каждый день на их глазах лица, занимавшие высокие посты, изобличались как последние подлецы, люди, во всех отношениях благополучные, скатывались в грязь, тюрьмы меняли жильцов, газеты – названия, знамена – цвета, деньги – владельцев. В зависимости от политических перемен, смысл которых был недоступен детскому пониманию, то, что вчера считалось долгом, сегодня становилось преступлением; добро и зло, патриотизм и предательство родины, честность и подлость представали понятиями относительными –

каждая политическая партия толковала их по-своему. Поколение, вовлеченное в это развенчание идей и поступков, к которому принадлежал и мой герой, ни в кого и ни во что больше не верило. Они не доверяли ни великим людям, ни громким словам. У них не было веры в будущее. Они жили автоматически, изо дня в день. В этом причина их душевного разлада.

– Считаете ли вы, что сегодняшняя молодежь может узнать себя в Этьене Мартене?

– В том, что касается поверхностных, так сказать, преходящих, случайных причин душевной тревоги, – нет. В том, что касается душевной тревоги как таковой, – да. Характер Этьена Мартена – это характер многих юношей, которых я знаю. Та же врожденная чистота, та же наивность как в восхищении, так и в ненависти, тот же отказ от полумер, компромиссов, комбинаций. Молодость – это крайность во всем. Этьен Мартен – человек с обнаженными нервами. Искатель истины. Кто не был таким в большей или меньшей степени в его возрасте?

– Вначале он верит, что нашел истину в теориях своего преподавателя философа месье Тюйе, а этот персонаж – неколебимый приверженец экзистенциализма. Стремились ли вы в романе «Голова на плечах» подвергнуть критике принципы философии экзистенциализма?

– Никоим образом! Если бы мой Этьен Мартен жил в какую-нибудь другую эпоху, я бы сделал его последователем Огюста Конта, Ницше, Бергсона, Тейяра де Шардена или кого-либо еще. Но в пятидесятых годах такого молодого человека – беспокойного, жаждущего все понять, страшащегося будущего – неизбежно должна была привлечь философия экзистенциализма. «Голова на плечах» не памфлет, направленный против мэтров экзистенциализма, но разоблачение опасностей, скрытых в любой философии, если она превращается в свод слепых догм и тиранически навязывает их, притязая на истолкование самых необъяснимых проявлений жизни. В моем романе я не противопоставляю философии Сартра какую-либо другую философию, защитником которой я бы выступал. Нет, поучениям тех, кто сочиняет разные системы, я противопоставляю реальную жизнь, осязаемую, трепетную. Поэтому-то в пароксизме бунта моего Этьена Мартена ничуть не убедили антифилософские аргументы Максима Жубера, любовника его матери. Возвратившись к себе после беседы с этим человеком, он по-прежнему охвачен духом отрицания и протеста. Переворот в его душе происходит, когда он видит свою мать, готовящуюся к встрече с тем, кого она считает своим мужем. Она так счастлива! Она накрыла на стол, накупила вкусных закусок, тонких вин.

Этьен с волнением смотрит на белую скатерть, на красиво украшенные блюда, сверкающие бокалы – на все эти знаки подлинной жизни. И если он больше не отваживается применять на практике теории, заимствованные у своего преподавателя, то именно потому, что перед его глазами потрясающее в своей простоте зрелище – любящая женщина. Я мог бы, понятно, выбрать и более мрачный конец: показать моего героя жертвой навязчивой идеи или толкнуть его к какому-нибудь бессмысленному поступку вроде самоубийства или убийства любовника матери, Я предпочел спасти in extremis[25] моего заблудшего и утратившего душевное равновесие героя. Я показал его вынырнувшим из водоворотов философии, еще полузадохнувшегося, но уже готового вобрать полной грудью воздух каждодневной жизни. Не так ли в девяти случаях из десяти кончаются все кризисы отрочества?

– В сущности, Этьена Мартена возвращает к жизни его мать, семья. Вы как романист, я думаю, придаете очень большое значение семье.

– Семья образует особый, замкнутый в себе мир, со своими привычками, традициями, приязнями и неприязнями, своим запахом и теплом, своими преданиями и своим языком. В этой насыщенной атмосфере люди связаны таинственными нитями. Любое душевное движение одного из членов семьи немедленно отзывается в душе других. Анализ этой взаимозависимости необычайно увлекает. Конечно, писателю интересен и отдельно взятый индивид, но гораздо глубже постигаешь его, изучая в определенной среде – в его собственном соку! Ведь человек формируется в детстве. Только там, где его корни, – в родном доме, среди своих близких, – человек всегда остается самим собой. Этьен Мартен без своей матери, без тесной квартирки, в которой они живут, без привычного стука ее швейной машинки уже не был бы Этьеном Мартеном.

– Есть ли второй – психоаналитический – план в ваших романах?

– Может быть… Не знаю… И не хочу знать… Боюсь, обдуманное применение психоанализа вредит писателю. Автор, конструирующий своих героев в соответствии с точными данными психоанализа, рискует превратить их в пациентов. Вместо того чтобы показать своих героев как живых людей – противоречивых, непоследовательных, непостижимых, – он делает из них носителей какой-нибудь навязчивой идеи. Они перестают быть людьми, терзаемыми комплексами, и превращаются в комплексы, воплощенные в людей. К ним словно бы пришпилены медицинские ярлычки. И действуют они в

соответствии с предписаниями пресвятой науки. Отсюда неизбежная опасность нарочитости и заданности. Не сомневаюсь, психоанализ плодотворен для некоторых писателей. Что касается меня, я не подбираю ключей психоанализа к моим персонажам. Я предпочитаю их неразгаданными. Пусть потом читатель сам угадывает в их поступках подсознательные побуждения, открытые теоретиками фрейдизма. Мое же дело не подыскивать логичные объяснения иррациональным явлениям, а вдохнуть жизнь в фантомы, населяющие мое воображение.

– И эти фантомы совсем разные, если судить по вашим книгам, выходящим одна за другой. После трилогии «Пока стоит земля» вы в 1952 году выпустили роман «Снег в трауре» – историю несложного, но непримиримого конфликта между двумя братьями. Свежий ледяной ветер горных вершин разогнал застойный воздух парижской квартиры. В юности вы занимались альпинизмом?

– Нет. Впрочем, подъем в горы и снег, по-моему, второстепенны в этом повествовании. Здесь важно столкновение двух братьев: бывшего проводника в горах Исая, сурового и простодушного, и Марселина, хитрого и развращенного. Мне давно хотелось сделать центральным эпизодом какого-нибудь романа такой вот внезапный взрыв ненависти в добром и смиренном существе против брата, долго его подавлявшего своим умственным превосходством. Но у меня не было ни сюжета, ни фона. Где произойдет драма? В какой среде? В какой стране? В какую эпоху? С другой стороны, меня поразила авария самолета компании «Малабар-Принцесс», происшедшая в ноябре 1950 года: он летел из Индии и упал на склоны Монблана. Сначала воздушная катастрофа и два брата, столь несхожие между собой и жившие под одной крышей, никак не связывались в моем сознании. И вдруг однажды ночью эти темы соединились. Я не оговорился: именно ночью, ибо весь сюжет «Снега в трауре» от начала до конца сложился во мне в том промежуточном состоянии, которое отделяет обычно бодрствование от сна. Во власти своего рода галлюцинации – она никогда больше не повторялась – я пережил последовательно, одну за другой, все главы романа от первой до последней. Все мне далось сразу: лица и пейзажи, характеры и перипетии. Мне предстало видение из романа, ни одна строчка которого не была написана: призрак с обмороженным лицом, в покрытой ледяной коркой одежде, затерянный среди снегов. Единственное живое существо посреди неподвижной, неподвластной тлению, вечной пустыни, он проходил передо мной своей неуклюжей походкой. Все было мертво вокруг него, и сам он не был уверен в своем присутствии в мире живых. Удивительная особенность: в этом сновидении не

было красок, только черное и белое. Мне оставалось как можно точнее перенести на бумагу всю эту фантасмагорию: малейшие ее подробности отчетливо запечатлелись в моей памяти. В то же время я не хотел отягощать мою историю дешевыми живописными эффектами. Главное, пусть не вздумают видеть в «Снеге в трауре» роман, вдохновленный альпинизмом и прославляющий мастерство какого-то горного проводника. Моей целью вовсе не было оживить несколько расхожих персонажей и воспользоваться ими как предлогом для описания «зимнего героизма». Я запретил себе приносить психологию героев в жертву рассказу об их восхождении на гору. В романе «Снег в трауре» главное траур, а не снег.

– Допустим, «Снег в трауре» не был классическим романом об альпинизме. Но раз вы сами не были альпинистом, вам нужны были какие-то материалы.

– Это было несложно. Сначала я прочел много специальной литературы по альпинизму. Потом мы, Гит и я, поехали в Шамони – высокогорный зимний курорт у подножия Монблана в департаменте Верхняя Савойя. Она раньше долго жила в этих краях, хорошо их знала и говорила о них с большой нежностью. Она познакомила меня с бывшим проводником Люком Турнье, и я рассказал ему историю моих героев. Вместе с ним мы изучили этап за этапом, шаг за шагом путь в горы Исая и Марселина. Я старательно записывал самые мелкие его указания. Он познакомил меня с другими проводниками, и они тоже помогали мне своими советами. Люк Турнье водил нас и в далекие прогулки. Благодаря ему я научился понимать жизнь в долинах. Я провел здесь всего несколько дней и, не будучи альпинистом, был покорен этим краем, величественным, суровым, загадочным. Мне все здесь нравилось: гордые вершины утесов и молчаливые, мужественные жители, вечные снега и глухие деревушки. А до чего милы эти приземистые нескладные домики – маленькие крепости, защищающие от холода, с их пологими, покрытыми толстым слоем снега крышами, с высокими каминными трубами, из которых по вечерам вьется дымок. Толкаешь дверь, входишь внутрь, различаешь в полумраке длинный выскобленный добела бревенчатый стол, на столе – миску с похлебкой, встречаешь взгляд старика. Этот старик, с виду обычный крестьянин, был когда-то проводником, на его счету восхождения на самые недоступные пики от Грепона до Ла Верта, подъемы на вершины Доломитовых гор, – героическое и полное опасностей прошлое. Люк Турнье пытается навести беседу на те давние походы, но старик пока отмалчивается. На его лице выделяются влажный рот, глаза, спрятанные в сетке морщин. Он посасывает трубку,

тихо посвистывая, и время от времени роняет несколько слов о погоде – она портится, об урожае – он рассчитывает продать его парижанам, или о сыне – он не доволен жизнью в Лионе и собирается вернуться в родные места. В очаге пылает огонь. Воздух пахнет сеном, коровником, дымом. Кисловатое белое вино наполняет стаканы. Мерно, с глухим стуком двигается маятник стенных часов. Наконец неохотно старик соглашается поведать нам свои воспоминания. Он не очень хорошо понимает, что интересного может найти в его истории этот называющий себя писателем чужестранец. Но раз Люк Турнье просит его продолжать… Я с жадностью ловлю каждое его слово. Исай и Марселин обретают облик, крышу над головой, домашний очаг – подобие подлинной жизни. Позже Люк Турнье увлекает нас на поиски стада баранов, пасущегося в горах. И здесь, среди мягких комочков шерсти, дрожащего блеяния, кротких взглядов новорожденных ягнят, я снова вместе с Исаем. Гит берет одного ягненка на руки. Он пугливо тянется к ней нежной мордочкой. Она поглаживает его шелковистый животик. В его шерстке застряли травинки, мерзлые колючки, дохлые насекомые. Он тихонько жалуется. Овца-мать отделяется от стада и, встревоженная, подходит к нам. В созерцании этой мирной картины мне вдруг открывается абсурдность шумной и нервной жизни большого города… В Париж я вернулся, влюбленный в горы, и тотчас принялся за книгу. Закончив работу, я показал рукопись для проверки точности описаний технических деталей опытному альпинисту Пьеру Алену.

По роману был поставлен фильм – американский. Фирма «Парамаунт» изъявила желание купить право на экранизацию романа, и я позволил себя уговорить: на меня произвели впечатление имена Эдуарда Дмитрыка – режиссера и Спенсера Трейси – исполнителя главной роли. Согласно голливудским обычаям, я не был допущен к работе над сценарием. Но когда съемочная группа приехала в Шамони для натурных съемок, я устремился туда же. То, что я увидел, удивило и крайне огорчило меня. Спенсер Трейси, несмотря на свой огромный талант, не имел решительно ничего общего со старым шамонийским проводником. Я не узнавал моего Исая в этом крепком американце, одетом в красную рубаху, в лихо сдвинутом набекрень берете. Мой Марселин превратился в героя-любовника с ослепительной улыбкой, а Мари Лаваллу, соседка братьев, – во фланершу с Пятой авеню, наряженную французской крестьянкой. Правда, Дмитрык пригласил настоящих проводников дублировать исполнителей главных ролей в сценах восхождения на гору. Я надеялся, вопреки рассудку, что настоящие горы заставят забыть

лживость голливудской трактовки. Наконец, съемочная группа уехала в США, прихватив с собой брата Люка Турнье как технического советника: он не устоял перед сокрушительной настойчивостью режиссера. Все эпизоды восхождения были воссозданы на студии с фальшивыми скалами, фальшивым снегом, фальшивыми расселинами и фальшивыми ужимками. Итогом был цветной фильм, мелодраматичный и нелепый, где внешний вид крестьян был столь же поддельным, как и их характеры.[26] К счастью, судьба книги вознаградила меня за неудачу фильма: вскоре после публикации «Снег в трауре» получил большую литературную премию князя Монако Ренье III. Премия, основанная год назад, в 1951 году, в первый раз была присуждена Жюльену Грину. В состав жюри или, точнее, Литературного совета, председателем которого был очаровательный и высокообразованный князь Монако Пьер, входили тогда Колетт, Андре Моруа, Жорж Дюамель, Эмиль Анрио, Марсель Паньоль, Морис Женевуа, Жерар Боэр, Филипп Эриа, Жан Шеневьер, Леонс Пейяр и Поль Жеральди. Я был знаком почти со всеми писателями, но никогда не встречался с Колетт. Прибыв вместе с Гит в Монако на традиционный прием во дворце, я сразу подпал под обаяние этой маленькой пожилой женщины, свернувшейся клубочком в своей инвалидной коляске, помню ее треугольное припудренное лицо в ореоле взбитых каштановых волос, живой взгляд, подвижный рот, легкие и гибкие руки, свободно лежащие на коленях. Колетт взирала на людей и предметы с одним и тем же жадным любопытством. Взгляд ее, остановившись на Гит, загорелся. Взаимопонимание сразу возникло между пожилой дамой, влюбленной в юность, и молодой женщиной, которой самый вид выдающейся писательницы на закате жизни внушал уважение и печаль. И та и другая страстно любили все сущее: животных, вещи, запахи и вкусы земли. Они оказались на одном берегу и говорили на одном языке. Наклонившись вперед, Колетт вдыхала Гит. Потом с таинственным видом она поведала ей своим глуховатым голосом какой-то рецепт красоты, известный еще в Древнем Египте, – одаривала ее сквозь столетия. Умолкнув, она повернулась ко мне и заговорила со мной, слегка задыхаясь, о своих литературных пристрастиях. Но когда я стал ей отвечать, я заметил, что она едва слушает меня, поглощенная щебетаньем неугомонных птиц, ссорившихся на газоне под открытым окном. От одного ее присутствия самые банальные вещи обретали оригинальность. Она сумела бы опоэтизировать и дикий цикорий! Неисправимая чародейка, пригвожденная к своему креслу, она раскрывала даже самым жизнелюбивым из нас все чудеса мира, в котором сама

передвигалась с трудом. На пороге могилы она преподала нам урок неутолимой любви к жизни. Когда она удалялась в своем кресле, меня охватило желание поблагодарить ее не за то, что она сказала, а просто за то, что она смотрела и дышала. Позднее я тоже был приглашен в состав Литературного совета княжества Монако, но Колетт уже не было в живых.

Пребывание в Монако было предлогом для очень приятных встреч писателей. Члены жюри приезжали с женами, останавливались всегда в Отель де Пари, в часы еды собирались за большим столом. По вечерам самые безрассудные из нас отправлялись в казино и отваживались проиграть несколько франков в рулетку. Мне никогда не везло в игре, но Гит, случалось, выигрывала. Пока она ставила жетон за жетоном, я бродил по залам, пытаясь проникнуть в тайны лиц, склоненных над зеленым сукном. Особенно возбуждали мое любопытство старые дамы с их алчными глазами, крючковатыми в пятнах руками, с их записными книжечками, куда они лихорадочно вписывали последние из выпавших номеров. В эти минуты я вспоминал Достоевского: в азарте игры он продавал платья жены и снова бежал в казино. Ко мне присоединялись мечтательный с обвислыми усами Эмиль Анрио или добродушный гигант Филипп Эриа. Мы обсуждали кандидатуры на премию.

Заседания жюри продолжались три дня под председательством князя Пьера. Затем голосование, прибытие лауреата, парадный завтрак во дворце. Протокол церемонии неукоснительно соблюдался, что чуть-чуть стесняло нас.

– Не в это ли время вы задумали пятитомный роман «Сев и жатва»?

– По правде говоря, я несколько лет думал о нем, точнее, с 1948 года, со времени моей женитьбы. Меня пленили рассказы Гит о ее детстве в Париже, потом в пансионе в департаменте Дордонь, затем в Межеве. В ее рассказах было столько комических и горестных подробностей, столько грации, юмора, живости и тепла, что я снова и снова просил ее что-нибудь вспомнить. Вижу нас обоих в моем кабинете: мы сидим друг против друга, позабыв обо всем на свете, она говорит, я слушаю. Чем объяснить, думал я, что история, бедная внешними событиями, до такой степени трогает и волнует меня? Почему так близка мне эта французская девочка с ее необычной судьбой? Я слушал мою жену, с грустной улыбкой вспоминавшую те далекие годы, с тем же чувством восторженного благоговения, нетерпеливого любопытства, как и рассказы моих родителей об их прошлом в России. И я понял, что в пандан русской серии «Пока стоит земля» абсолютно необходима французская.

Названием второго романического цикла стали бы слова из библейского изречения, откуда я заимствовал название для первого: «Пока стоит земля, сев и жатва, холод и жара, лето и зима, день и ночь неизменно будут следовать друг за другом». Но, чтобы привести в движение пятитомную сагу «Сев и жатва», воспоминаний Гит было недостаточно. Я должен был начать гораздо раньше – с истории ее родителей. Я обратился к ним с расспросами об их встрече, о первых годах их совместной жизни, об испытаниях, выпавших на их долю во время войны 1914–1918 годов. Они могли бы неодобрительно отнестись к моей нескромности, однако они, напротив, с сердечностью и доверием пошли мне навстречу. Они жили на юге, и моя теща, по моей просьбе, написала мне целую серию писем о своей молодости. Я воздаю должное добросовестности, искренности и скромности, с которыми она это сделала. Листки, присылаемые ею издалека, накапливались на моем рабочем столе, полные доверительных признаний. Она, кроме того, передала мне старые расходные книги, записные книжки, фотографии, а также письма, которые мой тесть писал ей с фронта во время Первой мировой войны, и блокнот, куда он заносил карандашом свои солдатские впечатления. Мобилизованный в пехоту, он прошел через все ужасы траншейной грязи, беспорядочного артиллерийского обстрела, самоубийственных атак, слышал хрипы раненых товарищей, умиравших неподалеку от окопов. Я сравнивал его трагичные в своей сдержанности свидетельства с теми, которые собрал среди бывших участников войны на русском фронте, когда писал роман «Сума и пепел». Обеими сторонами владело равное понимание абсурдности, бесполезности, жестокости, безумия происходящего. С выцветших страниц вставали призраки, с каждым днем обретавшие плоть и кровь. Роман быстро выстраивался в моей голове, но я чувствовал, что взялся за дело, требующее длительного и напряженного труда.

Мои намерения в цикле «Сев и жатва» были противоположны тем, которыми я руководствовался, когда писал трилогию «Пока стоит земля». В «Пока стоит земля» я ввел множество персонажей, связал их друг с другом переплетающимися сюжетными нитями, широкими мазками воссоздал великие исторические события: Русско-японскую войну, Первую мировую войну, русскую революцию, бегство из России, эмиграцию, развернул перед читателем непривычные его глазу пейзажные картины, перенося действие из Москвы на Кавказ, а с Кавказа в Санкт-Петербург, короче, я купался в живописном и исключительном. Приступая к циклу «Сев и жатва», я предписал себе ограничиться небольшим числом героев, дать им обыкновенную жизнь, поместить в

простую обстановку. Я отказался от всего экстраординарного, я занимался обыденным.

В первом томе, давшем название всему циклу, рассказывается история Амели – юной девушки, умной, честной, волевой. Она живет в небольшом городке департамента Коррез вместе с отцом, кузнецом Жеромом Оберна, матерью Марией и младшим братом Дени.

Прежде чем приступить к написанию романа, я хотел познакомиться с городком, откуда происходили родители моей жены. Гит там родилась, но почти в нем не жила. В тех местах у нее остались родственники, и мы сразу же оказались среди своих. Я, пришедший из далеких краев, поражался, как легко и просто моя жена могла посетить родной дом. Я изумлялся тысячам связей, соединявших ее с землей и людьми. Дед ее был тогда еще жив. Раньше он был кузнецом, учился самостоятельно, читая газеты, альманахи, и теперь не скрывал своих передовых и непримиримых убеждений. Давно отказавшись работать с железом, он со страстью занимался резьбой по дереву. Целыми днями с редкостным умением он вырезал из дерева разные фигурки. На полках его мастерской выстроились в ряд забавные персонажи: пастух, раскуривающий трубку, крестьянин, идущий на рынок, сельский врач, катящий в коляске. Без сомнения, свой дар скульптора Гит унаследовала от него. Она принялась лепить из глины его голову. Старика, по-видимому, забавляло это соперничество. Пока он обтесывал дерево, нанося легкие удары молотком по резцу, я расспрашивал его о жизни в деревне накануне войны 1914 года. Память у него была ясная, язык острый. Степенно и серьезно вспоминал он о былых временах. Молоток постукивал по рукоятке резца, отскакивали кусочки дерева, слова перемежались с длинными паузами. Продолжая сбор материала, я расспрашивал также кюре, соседей и друзей семьи.

Мы с Гит жили на частной квартире. Окна нашей комнаты выходили на маленькую площадь, в центре которой стоял памятник павшим. В комнате – стол для моей работы, рядом – крошечная кухонька. Отсюда мы уезжали на велосипедах в окрестные деревни. Высокий и тяжелый, я неумело крутил педали; Гит, прямая и легкая, мчалась впереди меня. Ведомый ею, я узнавал родину моих героев. Бродя по берегам Везера, спускаясь по дороге к кладбищу, укрываясь в тени рощиц, мы были попеременно то Марией и Амели, то Жеромом, Пьером и Дени. Вместе с ними мы ловили форель, собирали шампиньоны. По вечерам в нашей комнатке мы устраивали пиршество из вкусной добычи, отобранной у леса и реки. Потом мы снова говорили о

моем романе. Я вносил в записную книжку краткие записи о том, что видел и слышал, рассказы об охоте и рыбной ловле, некоторые выражения на местном наречии. Позже эта книжка снова попала мне в руки. Я перелистал ее, прочел наугад несколько слов и погрустил о тех временах, когда открывал для себя дикие красоты Корреза и одновременно технические трудности моего проекта. Гит водила меня также в Сен-Коломб в департаменте Ло, где она воспитывалась в пансионе. Пансион размещался в заброшенном монастыре. Только его стены и окружавшие их деревья не изменились. Во дворе смеялись и перекликались незнакомые девочки. Директриса заведения была бывшей пансионеркой и знала Гит в детстве. «Ну как же! – воскликнула она. – Маргерит Сентань? Конечно, помню…» Мы вернулись в Париж, взволнованные паломничеством к истокам моего будущего романа.

В конце первого тома моя героиня Амели, покоренная выправкой Пьера Мазалега, выходит за него замуж, переселяется с ним в Париж и в канун августа 1914-го открывает на улице Монтрей небольшое бистро. Во втором томе, «Амели», описывается одиночество и повседневная борьба за существование молодой женщины, муж которой на фронте: ожидание писем, ночная тоска, лишения… Наконец Пьер, тяжело раненный в голову, уволен из армии и больной возвращается к жене и дочери Элизабет, родившейся вдали от него. В литературе войну 1914–1918 годов так часто показывали сквозь призму испытаний мужчины, солдата, что в моем романе я решил изучить ее воздействие на чувства женщины, которая живет в тылу и, как и многие другие, покоряется абсурдному закону жизни в разлуке. «Амели» – в известной степени дань уважения не тем, кто сражался, а тем, кто ждал, не тем, кто проливал кровь, а тем, кто лил слезы, не тем, кто защищал родину, а тем, кто безропотно изо дня в день жил в тылу.

Действие третьего тома, «Жаворонок», происходит в 1924 году на Монмартре, где Амели, Пьер и Дени держат уютное кафе с табачным киоском. Но от Пьера осталась лишь тень, Амели для него сиделка, а не жена. Так, внешние признаки благополучия и делового успеха скрывают глубокую драму супружеской четы. Этой горестной теме противостоит другая: тема открытия мира ребенком. С одной стороны, покорность судьбе, будничные заботы, постепенное оскуднение души, с другой – детское изумление перед всем сущим. Героиня тома не Амели, а ее десятилетняя дочь Элизабет. Впечатлительная и своенравная, она на свой манер развивается сначала в пропитанной ликерными ароматами атмосфере парижского кафе, потом в далеком

пансионе за городом, наконец, в школе у своих дяди и тети. Для нее каждая перемена в жизни – праздник. Ее характер формируется в столкновениях с людьми и обстоятельствами. Но, по сути, везде у чужих людей она ищет тепло домашнего очага, которого всегда была лишена. Признаюсь, меня необыкновенно воодушевляло это мое превращение в девочку, подхваченную потоком жизни. Когда я писал «Жаворонка», я в буквальном смысле слова вновь перенесся во времена детства. Чувства мои обострились, мысли и душа обрели свежесть, я, казалось, даже пол изменил! В этом перевоплощении мне, безусловно, помогло присутствие возле меня Минуш. Необщительная, скрытная и нежная, она и интересовала, и беспокоила меня. Все в ней было чрезмерно: порывы, уловки, доброта, любовь к животным, обожание матери, печали, страхи, приступы лени и приливы энергии. Она легко признала во мне отца, но бессознательно страдала от второго замужества матери; она обожала нас, но сердилась на нас за наше счастье. Терпеливо, осторожно мы старались завоевать доверие этого ранимого ребенка. Постепенно она поверила в простое, полное любви и радости будущее, которое мы ей обещали. Она начала заниматься классическим балетом. И я, еще ребенком смеявшийся над сестрой за ее одержимость хореографией, вновь оказался в мире арабесок, пируэтов и балетных позиций. По состоянию здоровья Минуш пришлось оставить балет. Для нее это была трагедия безмерных масштабов. Ведь она уже видела себя идущей по стопам Павловой! Мы пытались излечить ее от этой травмы, уговаривая заняться драматическим искусством. Она немного играла на сцене, немного снималась в кино, не без успеха выступила в одной из моих пьес. Вскоре она вышла замуж и навсегда отказалась от сцены. Но я забегаю вперед. Закроем скобку и вернемся к «Севу и жатве».

В четвертом томе, «Нежная и неистовая Элизабет», я вновь встретился с моим «жаворонком» – ей восемнадцать лет, она красива, весела, непосредственна. Ее родители, Пьер и Амели, стали владельцами отеля в Межеве.[27] Здесь в обстановке нескончаемых каникул Элизабет познает «великую», как она считает, любовь своей жизни, на самом деле – жалкий обман. Раздавленная, одинокая и свободная, Элизабет приезжает в 1938 году в Париж в убеждении, что любое ее начинание заранее обречено на неудачу. Не пылкий ли и требовательный характер мешает ей обрести счастье на проторенных дорогах жизни, задается она вопросом в пятом томе – романе «Встреча». К ее личным бедам вскоре добавляются общие несчастья и муки: Мюнхен, война, бегство из Парижа в июне 1940 года, наконец,

оккупация: погруженный в темноту Париж, продовольственные ограничения, топот немецких сапог. Среди этих испытаний Элизабет тщетно пытается найти свое место в жизни. Когда она окончательно теряет почву под ногами, один человек возвращает ей веру в себя и в будущее. Человек, пришедший из далеких краев, которого по законам обычной логики она не должна была встретить на своем пути, это Борис Данов, молодой герой последнего тома трилогии «Пока стоит земля». Вместе с ним в цикл «Сев и жатва» входят его родители, Михаил и Таня. Персонажи, с которыми я расстался более десяти лет назад, вновь обрели жизнь. Свершилось непредвиденное соединение двух романических циклов, русского и французского. Признаюсь, мгновение этого слияния было для меня чрезвычайно волнующим. Представьте себе две группы людей, работающих на разных концах длинного тоннеля: они роют землю и медленно двигаются навстречу друг другу. Стена, которая их разделяет, уменьшается с каждым ударом кирки. Наконец, последний удар – воздух беспрепятственно циркулирует из одного конца тоннеля в другой.

– В «Севе и жатве» вы, в сущности, нарисовали портреты не одной, а трех женщин.

– Да, и их семейные черты повторяются из поколения в поколение. Есть и психологическая преемственность между героинями этих пяти томов. Кроме того, в «Севе и жатве» показано возвышение семьи, которая начала на пустом месте и трудом, самоотречениями, мужеством добилась завидного положения в обществе. Заботы о завтрашнем дне преобладают в этой хронике скромной жизни. В ней много подробностей повседневного существования. Весь цикл – дань уважения женскому упорству в вечной борьбе за счастье. «Сев и жатву» я писал шесть лет, последний том, «Встреча», вышел в 1958 году. В промежутках я написал другие произведения: биографии русских писателей, книги «Святая Русь» и «Повседневная жизнь России при последнем царе», а также «Рождение дофина» – репортаж о национализированных заводах Рено.

– Вас интересует автомобиль?

– Совершенно не интересует! Признаюсь, я даже не умею водить, хотя права у меня есть. Я получил их по настоянию Гит вскоре после нашей свадьбы. Гит прекрасно водит машину и надеялась, что вождение и мне доставит удовольствие и избавит от врожденного страха перед техникой. Я брал уроки в автошколе, когда мы проводили отпуск на пляже в Сен-Мало. Я заранее знал, что мои взаимоотношения с машиной сложатся бурно. Руки у меня неловкие, реакция неточная, и с машиной я

обращался не как с союзником, которого следует убедить, а как с врагом, которого следует укротить. Наконец, настал великий день. Не очень-то я был к нему готов, но экзаменатор был снисходителен: он когда-то читал «Пока стоит земля». С пересохшим ртом, судорожно вцепившись в руль, я, как мог, поддерживал разговор о моем романе. Любезно отвечать на похвалы и блистать умом, проходя на высокой скорости повороты, – непосильная задача! От этого человека зависело мое будущее автомобилиста, а он направлял меня в узкие улочки и предлагал сделать крутой разворот, остановиться, снова тронуться с места, дать задний ход, и при этом не переставал говорить о моих персонажах. Я заехал на тротуар, расписывая ему нежность и мужество Тани, позорно остановился на середине подъема, сравнивая судьбы двух братьев, Сергея и Бориса, и врезался в мусорный ящик, анализируя психологию Кизякова. Но эти инциденты не вывели моего экзаменатора из себя. По-видимому, его более волновали мои проблемы как писателя, чем водителя. Я считал, что провалился, однако права получил.

Мы давно мечтали проехать на машине по Бретани. Гит, сев в машину, заявила: «Я к рулю не притронусь. Веди сам». Сначала я растерялся, но потом решил попытать удачи. Доверие жены мне очень польстило, но я быстро понял, что испытание превышает мои силы. От резкости моих движений двигатель то вибрировал, то набирал обороты, а однажды совсем заглох. На поворотах я тормозил, обгоняя машину, брал круто в сторону и едва не свалился в кювет. Раз двадцать мы рисковали жизнью. Разумеется, мне не пришлось любоваться великолепными пейзажами, мимо которых мы проезжали. Мой взгляд искал не Конкарно, мыс Рац и древние памятники Карнака, а дорожные знаки, расставленные по краям шоссе. Нога моя дрожала, когда я нажимал на педаль акселератора, и я почти желал аварии, лишь бы положить конец этой безумной поездке. Вернувшись в Париж, я решил, что никогда больше не дотронусь до руля. Гит грустно признала, что я совершенно не расположен к этому роду деятельности. Отныне во всех наших путешествиях роль шофера доставалась ей. Вначале я страдал от этого, как страдают от какого-нибудь физического недостатка, но потом, испив весь свой позор, предался удовольствию быть вечным пассажиром в автомобиле, за рулем которого сидит моя жена.

– После того, что вы рассказали, я полагаю, что на государственные заводы Рено вас привели поиски контактов с людьми, а не с машинами?

– Вы правы. Во время моих многочисленных посещений заводов Рено меня изумляло бешеное полыхание печей, мощные

рывки прессов, непрерывное движение автоматических линий, но более всего меня потрясало зрелище огромного числа людей, занятых среди оглушительного шума тысячью отупляющих операций. Перед моими глазами был, казалось, бездонный резервуар, до краев заполненный человеческой усталостью, мечтаниями, заботами, надеждами, бунтарством и покорностью. Мне хотелось расспросить отдельно каждого из этих мужчин и женщин и узнать, какая жизнь скрывается за однообразными движениями прикованных к конвейеру людей. У меня была возможность встретиться с некоторыми из рабочих вне завода – в кафе, у них дома, в кругу семьи. Они без всякого стеснения обсуждали со мной условия своей жизни и труда. С максимальной точностью я перенес их рассказы в мою книгу.

После путешествия в империю Рено мы совершили путешествие по Центральной и Южной Америке, о котором я рассказал в книге «Между пальмой и небоскребом». Поездка была богата впечатлениями, но очень утомительна. За короткое время мы побывали во многих странах: в Мексике, Гватемале, Гондурасе, Сан-Сальвадоре, Панаме, Боливии, Чили, Аргентине, Бразилии и, не помню, в каких еще. Сегодня мы вдыхали жаркий и влажный морской воздух, а завтра задыхались от разреженного воздуха высоко над уровнем моря. В неумеренных дозах экзотика своей чрезмерной, но однообразной живописностью вызывает, в конце концов, чувство пресыщения, даже отвращения. Красота ландшафтов Юкатана, Киото или Мачупикчу не может отвлечь от зрелища нищеты коренного населения, одурманенного кока-колой и алкоголем, питающегося горстью маиса и обреченного нищенствовать. Повсюду мы видели похожих на призраки стариков, рахитичных женщин, больных детей, спящих на груде очисток.

Гит без устали фотографировала людей и животных, памятники и пейзажи. Нередко, когда она наводила объектив, на нее обращались разъяренные взгляды, и я опасался, как бы какой-нибудь суровый туземец, сочтя себя оскорбленным, не расправился с ней. Но она умела улыбкой обезоружить самых недовольных. И вот щелчок за щелчком на фотопленке запечатлевались лама, позировавшая в профиль, с ее гордой головой, обвисшей губой и бархатными глазами, печальное лицо преждевременно постаревшего юного пастуха, дым курильниц перед полуязыческим, полухристианским храмом в Чичикастенаньо и круглые шляпы женщин на базаре в Отавало, холодное величие озера Титикака и убогие хижины гватемальского семейства.

Для поездки к руинам Юкатана мы наняли гида и

переводчика – пожилого господина с юношеской походкой, худощавой фигурой и ясным взглядом, признавшегося, что ему восемьдесят лет, и бегло говорившего по-французски. Он долго жил в Париже, прежде чем обосновался в Мериде, и явно предпочитал делиться своими воспоминаниями, чем посвящать нас в нравы народа майя. Перед дворцом под открытым небом, перед руинами полуразрушенного храма или перед гримасничающими статуями, внезапно, точно из-под земли выраставшими на повороте тропинки, он рассказывал нам о Люксембургском саде, о площади Пигаль и о Фоли-Бержер, которое усердно посещал в 1927 году. «В Париже меня называли индейцем, – меланхолично произносил он, – а здесь называют французом». И засыпал нас вопросами о Франции. В результате мы больше рассказали ему о сегодняшнем Париже, чем он нам о прошлом Мексики.

Для ночлега мы выбрали бунгало возле гранд-отеля «Майаланд», недалеко от руин Чичен-Ица. Над кроватями была натянута противомоскитная сетка. Легионы насекомых вились и жужжали над этим тонким тюлевым занавесом. Нас окружали звуки тропического сада. Что-то со свистом бегало в траве. Поскрипывала ветка под тяжестью вцепившегося в нее какого-то животного. Одна птица оглашала сад своим хохотом. Другая пронзительным криком призывала подругу. Третья подражала прерывистому щелканью трещотки. Внезапно все смолкло, слышался лишь жалобный плач ребенка. Откуда он раздавался? Кто изливал свою жалобу, тревожа ночное безмолвие? После мгновения затишья гам возобновился с еще большей силой. Нам удалось заснуть только на рассвете. Утром мы увидели в окно огромную игуану: подняв голову, на нас неотрывно глядело существо доисторической эпохи.

Мы продолжали путь по дорогам, окаймленным агавами. То тут, то там попадались трупы телят и жеребят, растерзанных клювами хищных птиц. Эти черные стервятники, заменявшие в этой стране дорожные службы, пропустив машину, в развалку удалялись и облепляли скелеты у края дороги. Вообще мысль о смерти преследовала нас все время путешествия. В величественных церквях с пышно украшенными фасадами, построенных испанскими миссионерами и художниками-индейцами, мы видели изображения Христа, сделанные из настоящих окровавленных лохмотьев. Всклокоченные и липкие от пота волосы и борода были явно взяты с местного покойника. В пустом взгляде Спасителя не было ничего божественного. В лавчонках торговали маленькими скелетами из гипса, маленькими трупами из картона, маленькими гробами с крышкой

на пружинке, пирожными, украшенными берцовыми костями, черепами из сахара. Подземелья были полны мумий со страшным оскалом зубов. В Тегусигальпе за несколько часов мы видели шесть детских похорон. Никто не обращал на них внимания. Жизнь и смерть пребывали здесь в добром согласии. Смеяться можно было и над одним, и над другим.

В Киото на улицах, и особенно в деловых кварталах, мы часто слышали немецкую речь. В стране обосновалась крупная немецкая колония. По дороге в Ла Паз шофер, который нас вез, глубокой ночью остановился перекусить возле одиноко стоящего дома с запертыми ставнями. Владелец пустил нас на ночь – он оказался немцем. На стенах комнаты, которую нам отвели, висели виды Гейдельберга, а среди них – фотография броненосца, через весь корпус которого шла дата и подпись. Какое политическое преступление вынудило этого человека после поражения Германии скрыться в Боливии? Я помню также французский ресторанчик. Его владелец заметно помрачнел, услышав, что мы говорим по-французски. Мы пригласили его к нашему столику и расспрашивали, как он попал сюда. Недоверчиво поглядывая на нас, он не отвечал на вопросы, а пустился в воспоминания о французской кухне. Без сомнения, мы повстречали бывшего коллаборациониста, которому путь во Францию был закрыт навсегда. Родина свелась для него к бифштексу с жареным картофелем, поданным под солнцем экватора.

Даты и местности путаются в моей памяти, но общее впечатление от нашей бесконечной поездки сохранилось. Далекие страны, где земля богата, а люди бедны, страдают от землетрясений, тайфунов, суеверий, эпидемий и сезонных революций! Страны новехоньких небоскребов и девственных непроходимых лесов, американских автомобилей и разбитых дорог, церквей с осыпающейся позолотой и едва прикрытых лохмотьями нищих, больниц с ультрасовременным оборудованием и колдуньями в деревнях. Страны, в муках переживающие свою молодость! Думаю, не ошибусь, если скажу, что недалек тот день, когда эти молодые республики явятся миру процветающими и могущественными. Разве самые прекрасные надежды будущих поколений не таятся в чащах этих лесов, в песках этих пустынь, в вечных снегах, покрывающих вершины Кордельер?

С каждым новым переездом мы продвигались к концу нашего путешествия, и чем ближе был день возвращения, тем сильнее было мое желание поскорее снова увидеть Францию. Наш самолет, вылетевший из Рио-де-Жанейро, приземлился в Даккаре,

и я очень разволновался, когда чернокожий таможенник обратился ко мне по-французски.

Стояла удушающая жара. Даже в лучшем отеле комнаты не были оборудованы кондиционером. Тщетно мы старались освежиться, каждые десять минут принимая теплый душ. Наши окна выходили на школьный двор. Там, составив круг и хлопая в ладоши, танцевали негритята, с чисто африканской грацией выполняя движения танца. И вот настал день отъезда. Не придется больше задыхаться, покрываться потом, каждый час проглатывать по двадцать порций прохладительного питья, восхищаться высокими, стройными сенегальцами, облаченными в белые бурнусы, любоваться обольстительными сенегалками, закутанными в несколько слоев многоцветной ткани, следить взглядом за кружением грифов над рынком в Медине, наблюдать, слушая звуки фанфар и приветствия губернатора, за отплытием парохода, везущего паломников в Мекку, – все позади: мы наконец поднимаемся на борт самолета, совершающего регулярные рейсы в Париж…

Как и в «Жилище дядюшки Сэма», для рассказа о нашем туристическом набеге на Америку я выбрал шутливый тон. После тех потрясений, которые пережила Латинская Америка за последние годы, мою книгу можно рассматривать, по-моему, только как взгляд в прошлое.

Вскоре после нашего возвращения мы купили в окрестностях Граса дом – типичное для юга Франции строение из белого камня с красной черепичной крышей, который когда-то служил почтовой станцией. Он стоял в окружении старых оливковых деревьев с искривленными стволами и серебристыми вершинами и темно-зеленых, высушенных мистралем кипарисов, вырисовывавшихся на фоне голубого неба. Возле дома был участок отвердевшей земли, на котором когда-то молотили хлеб. Вокруг неумолчно стрекотали цикады. Настоящее райское уединение!

Знакомство с этим чудесным местом омрачалось для нас глубокой печалью. Гит перевезла к нам свою умиравшую от рака мать, окружив ее заботой и любовью. Больная, истаявшая, ослабевшая, с ввалившимися щеками, лихорадочным взглядом, худыми прозрачными руками, она больше походила на призрак. Мы скрывали от нее поставленный докторами страшный диагноз. Она думала, что страдает желтухой, и жаловалась, что слишком долго не выздоравливает. Гит превратилась в сиделку. Минуш, тогда еще ребенок, помогала ей ухаживать за больной и поддерживать в ней ее заблуждение. Самый воздух в доме пропитался милосердной ложью: улыбались умирающей, со дня

на день ожидая ее конца. Это произошло днем; на безоблачном небе ослепительно сияло полуденное солнце.

На втором этаже старого провансальского дома лежала в своей комнате та, что некогда очаровывала меня рассказами о своей юности, лежала безмолвная, точно после тяжелой работы, скрестив на груди руки. Похоронить ее должны были на кладбище ее родного города, там, где покоился ее супруг.

Погребальный катафалк ехал впереди, мы следовали за ним на автомобиле. Гит, измученная бессонной ночью, проведенной у постели умирающей, вела машину. И сейчас еще я вижу ее застывшее лицо, напряженный взгляд, тонкие руки, на крутых поворотах крепко сжимавшие руль. Дорога из Граса до границ Корреза длинная и извилистая, но мне казалось, что, будь она в три раза длиннее, Гит преодолела бы и ее. Приковав взгляд к задней дверце похоронного фургона, где покоилось тело ее матери, она подавляла усталость, намереваясь держаться до конца. Минуш, скорчившись на заднем сиденье, подавленная горем, молча глотала слезы. Никогда еще я так не огорчался, что не умею водить машину! Так мы двигались к самому сердцу Франции, проезжая мимо покрытых цветущей зеленью холмов, глубоких ущелий, сумрачных лесов. Когда мы вернулись на Юг, дом показался нам опустевшим…

Вступив во владение домом, мы сразу в нем поселились, несмотря на его состояние. Дом нуждался в восстановительных работах, к которым мы не могли приступить во время болезни моей тещи. Гит превратилась в архитектора. Вместе с подрядчиком она объезжала округу в поисках старых балок, еще сохранившихся в обветшавших овчарнях. Эта новая деятельность помогала ей преодолеть скорбь. Рабочие с их южным выговором наводнили усадьбу. Я же невозмутимо писал, не обращая внимания на стук молотков и визг пил. По вечерам я играл в шары с каменщиками и водопроводчиками. Моя работа продвигалась быстрее, чем у них.

Из камней, вырытых из земли, наш садовник сооружал ограду. Он также ухаживал за оливковыми деревьями, собирал оливки и отвозил их на мельницу. Редкое удовольствие для горожанина: мы заправляли салаты маслом из наших собственных оливок. Мы также делали собственное вино, но вопреки нашему тщеславному желанию находить его превосходным, не могли его пить – очень уж оно обжигало язык. Гит просто обожала свои оливковые деревья. Мы, наверное, ради них и купили этот дом! Мы не прожили в нем и трех лет, как заморозки погубили большую часть деревьев. Пришлось обрезать их почти до самой земли. И на месте деревьев с их изящной

трепещущей листвой оказался участок, усеянный черными пеньками. Сердце сжималось при виде этого изуродованного пейзажа. Но замерзшие деревья не желали погибать. И уже стебельки молодых побегов пробивались сквозь кору покореженных стволов. В ожидании, пока они подрастут, мы купили в деревнях взрослые деревья. Они быстро прижились, и вскоре дом снова обрел свое зеленое обрамление.

В «Раванелле» – так мы назвали наш дом – мы проводили каждое лето вместе с детьми и друзьями. В этом жизнерадостном окружении я отдыхал, но не отрывался от рукописи. Каждый день между прогулками, плаванием в бассейне и партией в шары я встречался с моими персонажами. Уходя с залитой солнцем лужайки, я возвращался в кабинет и менял страну, климат и столетие. В это время я уже начал писать «Свет праведных» – цикл из пяти романов, рассказывающий о благородном и трагическом выступлении декабристов.

– В пенталогии «Свет праведных» вы вновь вернулись к прошлому России. Почему?

– К истории декабристов я обратился по двум причинам. Во-первых, работа над книгой о Пушкине заставила меня пристально изучать жизнь и нравы русского общества начала XIX века, и мне очень хотелось возродить к жизни уже поглощенный временем мир со всеми его устаревшими обычаями и благородными иллюзиями. Во-вторых, и именно это главное, описывая русскую революцию в трилогии «Пока стоит земля», я глубоко осознал, что этот катаклизм был завершающим в ряду подорвавших общественные устои ударов, наиболее значительный из которых, бесспорно, был нанесен восстанием 14 декабря 1825 года. Тогда-то меня и захватила мысль рассказать о своего рода «путешествии» самой идеи свободы, принесенной из Франции в Россию офицерами армий Александра I, вступивших в Париж сначала в 1814-м, а потом, после падения Наполеона, в 1815 году. Во Франции освободительные теории овладели умами молодых русских офицеров, большей частью дворян, и по возвращении на родину они стали распространять их дальше в своей среде. Затем, воспользовавшись тревожной обстановкой междуцарствия, возникшего в результате внезапной смерти Александра I, они попытались поднять армию против претендента на престол будущего императора Николая I. Вооруженное выступление декабристов – одна из немногих в истории революций, совершавшихся абсолютно бескорыстно. Восставшие не преследовали личных целей и в случае победы не ожидали удовлетворения своих личных интересов. Обычно в революции против правящих классов выступает народ, в декабре 1825 года

рисковали жизнью, надеясь изменить к лучшему судьбу своего народа, представители привилегированного сословия.

В первом томе цикла о декабристах «Свет праведных» – «Собратья по маку» – мой герой Николай Озарёв открывает для себя одновременно очарование Парижа, обаяние демократических теорий и прелесть дочери хозяев дома, где живет, Софи де Шамплит, олицетворяющей в его глазах республиканскую Францию. Сначала молодая женщина неприязненно относится к влюбленному в нее, но облаченному в мундир победителя Озареву, но в конце концов отвечает на его любовь, выходит за него замуж и соглашается следовать за ним в Россию. Жизнь в России составляет содержание второго тома – «Барыня». Софи привыкает к своему новому положению хозяйки дома, живет в деревне среди крепостных крестьян и всячески старается облегчить их участь. Николай, которого Софи пристрастила к политике, мечтает об установлении в России конституционной формы правления и вступает в одну из организаций заговорщиков. В третьем томе – «Слава побежденных» – рассказывается о лихорадочной подготовке государственного переворота. Затея героическая и безумная. У вождей заговора нет единого взгляда ни на цель восстания, ни на средства его проведения. И вот 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге гвардейские полки во главе с восставшими офицерами строятся в каре напротив войск, оставшихся верными правительству. Будущий император после нескольких часов колебаний и нерешительности дает приказ стрелять по мятежникам из пушек. Восставшие падают под пулями или разбегаются. Руководители заговора арестованы. Среди них и Николай. Он заключен в Петропавловскую крепость, царь лично допрашивает его; Николай осужден и отправлен на каторгу. Несмотря на все препятствия, возникающие на ее пути, Софи следует за мужем в Сибирь.

Если образы Николая Озарёва и Софи целиком вымышлены, то все подробности восстания декабристов, их заключения в крепости, допроса их Николаем I полностью соответствуют исторической действительности. Жены многих осужденных декабристов, как и Софи, просили и добивались разрешения последовать на каторгу за своими мужьями. В большинстве своем это были женщины из высшего общества, которые, повинуясь исключительной, почти святой самоотверженности, жертвовали всем – богатством, семьей, общественным положением ради того, чтобы разделить с мужьями невзгоды каторги и ссылки. В романе Софи окружают реально существовавшие исторические лица: княгиня Трубецкая, княгиня Волконская, графиня Муравьева,

Полина Анненкова…

Сейчас трудно даже вообразить себе медлительность, тяготы, препятствия, которые представляла в ту эпоху экспедиция в самую глубь Сибири. Для описания приключений Софи мне посчастливилось отыскать документы, содержащие точные сведения о расположении почтовых станций, о ценах на лошадей – обо всех условиях, ожидавших в дороге путешественников.

В четвертом томе – «Жены декабристов» – описывается жизнь заключенных и их жен на каторге в Чите. Здесь я бы мог усилить драматические ноты, преувеличивая ужасы заключения. Я предпочел сохранить верность свидетельствам, оставленным самими ссыльными. Из многочисленных и неоспоримых документов (письма, воспоминания, рисунки) следует, что хотя пребывание в Чите было, конечно, очень тяжелым и полным унижений, оно не шло ни в какое сравнение с жесточайшими испытаниями, которые пришлось пережить Достоевскому в Мертвом доме. Снисходительный комендант поселения генерал Лепарский старался всеми бывшими в его распоряжении средствами облегчить участь заключенных. Осаждаемый просьбами жен декабристов, он не мог устоять перед обаянием этих женщин и с каждым днем понемногу ослаблял каторжную дисциплину.

В романе «Софи, или Конец сражений», эпилоге этой романической сюиты, моя героиня, уже овдовевшая, принуждена в результате ряда интриг вернуться во Францию. Но здесь полиция Наполеона III преследует ее, как и полиция Николая I в России. К тому же Софи страдает от поэтических вымыслов, окружающих декабристов и их жен. Ни к чему, думает она, превращать в идолы поклонения тех, кто были живыми существами из плоти и крови со всем своим необыкновенным мужеством, но и со своими слабостями. Софи, однако, не считает себя вправе разрушить эти легенды, хотя они и раздражают ее. Еще более трудное испытание предстоит ей в 1854 году, когда Франция вступает в войну против России. Газеты обличают «кровожадного царя» и «развращенных бояр», театры ставят патриотические пьесы, завсегдатаи салонов высмеивают все, что исходит из «страны кнута». Софи, хотя и француженка в глубине души, с трудом переносит насмешки и брань в адрес русского народа, среди которого она столько выстрадала. Только после «конца сражений» может она вздохнуть свободно и вернуться в Россию. Здесь она опять живет среди крестьян и воскрешает свои горестные воспоминания.

По пенталогии «Свет праведных» был снят телесериал, рассчитанный на 14 часов эфирного времени. Разочарованный

предыдущим кинематографическим опытом, я не без опасений дал согласие. Ведь очень редко роман не искажается при переносе на экран! На этот раз результат меня приятно удивил. Адаптация Жана Космо и Жана Шатене оказалась верной, режиссура Янника Андрэ выразительной, тонкой и поэтичной, исполнение не исказило образов героев, которые я создал в моей книге. Роль Софи великолепно исполнила Шанталь Нобель, роль Николая – пылкий и наивный Мишель Робб, роль его сестры – нежная Николь Жамэ, а роль его отца – массивный и волнующий Жорж Вильсон. Поистине, я и желать не мог лучших исполнителей. Одно меня огорчало: из-за соображений удобства фильм снимался в Австрии, а не в России. Тем не менее пейзажи, выбранные Янником Андрэ, были столь прекрасны, что я быстро смирился с этим отступлением от моей книги.

– Первый том пенталогии «Свет праведных» был опубликован в 1959 году и в этом же году вы были выбраны во Французскую академию. Как произошло это событие?

– Совсем просто. Во Французской академии у меня были друзья. Они убеждали меня выдвинуть свою кандидатуру на кресло, освободившееся после смерти Клода Фаррера. Они считали мои шансы очень серьезными. Я не колебался. Сын эмигрантов, я не имел права отказываться от чести, которую мне предлагали самые крупные писатели приютившей меня страны. Тем более что среди них были те, кто поддерживал меня в начале моей литературной деятельности: Мориак, Моруа… Думал я также и о радости родителей, если я буду избран. Какое утешение для них за все горести изгнания! Я обратился с письмом, в котором предлагал свою кандидатуру непременному секретарю академии Морису Женевуа, а затем стал наносить визиты академикам. Все эти господа принимали меня учтиво, более того – дружески. Конкурента у меня не было. Это очень облегчало мою совесть, ибо всегда мучительно соперничать с другим писателем. Выборы состоялись 21 мая 1959 года и не принесли неожиданностей. Я был избран абсолютным большинством голосов при двух против. Я узнал об итогах голосования по телефону, и, повесив трубку, несколько мгновений чувствовал себя таким же растерянным из-за той легкости, с которой все произошло, как и в день присуждения мне Гонкуровской премии. Правда, на этот раз я был к событию более подготовлен.

Нашу квартиру наводнили друзья, знакомые, журналисты, фотографы. Мои новые собратья один за другим приезжали поздравить меня. Среди гостей, толпившихся возле импровизированного буфета, я видел сияющую Гит, ошеломленных Минуш и моего сына Жана-Даниэля, брата, его жену, переходившую от группы к группе, но чаще всего мой взгляд обращался к родителям, таким старым и усталым. Отец, скрывая радость, отвечал, как мог, на поздравления какой-то незнакомой дамы. Его русский акцент, выделявшийся в гуле французских голосов, весьма меня забавлял. Я читал на его лице удивление, нежность, гордость. Он явно думал об удаче, не доставшейся ему в этой стране и благосклонной к его сыну. Моя мать, уже очень больная, посреди всей этой суматохи спокойно сидела в кресле, стараясь высоко держать голову. Когда я наклонился к ней, чтобы ее поцеловать, она сказала мне: «Хорошо, мой мальчик. Но теперь нужно идти дальше». Присутствовали также и мои друзья: Мишель Моруа, Жан Давре, Клод Мориак, Жан Бассан, Анри и Соланж Пуадено. Все было, как в день присуждения мне Гонкуровской премии. Только двадцать один год минул. Меня фотографировали, теснили со всех сторон, осаждали вопросами. Кто-то заметил, что в сорок восемь лет я самый молодой из академиков. Это вернуло меня к реальности:

мысленно я оставался в 1938 году. И тут в двух шагах от себя я заметил Гит, сражавшуюся с репортером радио. Меня поразила естественность, с которой она держалась перед микрофоном. Она, никогда не выступавшая публично, отвечала на вопросы этого человека со спокойствием и простотой счастливой женщины.

Затем предстояло заняться костюмом и шпагой. Согласно традиции, шпагу новоизбранному преподносят его друзья. Образовали комитет для сбора необходимых средств. Жан Давре со свойственной ему увлеченностью придумал мотивы орнамента из драгоценных камней для украшения шпаги и заказал ее ювелиру. В рисунке эфеса соединялось несколько символов: двуглавый орел вызывал в памяти мои книги о России, красные маки на черном фоне – первый том «Света праведных», миниатюрный земной шар – трилогию «Пока стоит земля», созревшие хлебные колосья – цикл «Сев и жатва», вырванные из земли корни – роман «Чужие на земле», был и паук, ткавший в углу паутину, и венок из веток оливы, охранявший наш дом в Провансе. Число подписчиков росло с каждым днем, среди них было много армянских и русских имен, напоминавших мне о моем происхождении. Обе колонии устроили в мою честь приемы, чтобы выразить симпатии эмигрантов к тому из них, кто оказался на вершине успеха. Я понимал, что Франция в моем лице спокойно и великодушно признавала и чтила всех изгнанников.

В соответствии с протоколом, вновь избранный академик должен быть представлен президенту Республики, который предварительно утверждает результаты выборов. В день, назначенный для аудиенции, я отправился к герцогу де Левис-Мирепуа, директору-исполнителю академии, и застал у него Жана Ростана,[28] как и я, новоизбранного. Редкие волоски на затылке, острый нос, круглые глаза за стеклами очков – он походил на затравленное земноводное. Он немедленно поделился со мной страхами перед академическим «бременем». Я ответил, что это – главная причина и моего беспокойства. «Нам нужно сплотиться, – заявил он. – Сформировать антисветский клан. Я не могу отлучаться из лаборатории. У меня животные, культуры…» Я разделял его мнение: и у меня были «животные» – мои персонажи. Они нуждались в моем постоянном присутствии не меньше, чем лягушки в присутствии Жана Ростана. Герцог де Левис-Мирепуа нас успокоил: можно прекрасно быть академиком и жить в уединении. В Елисейский дворец мы пошли пешком (герцог жил совсем рядом). Проходя через парадный двор, я вспомнил, что император Александр I останавливался здесь во время пребывания в Париже в 1814-м и в 1815 году. Стало быть, мой герой Николай Озарёв, направляясь на прием к царю, тоже

поднимался по этой монументальной лестнице, тоже рассматривал покрытую позолотой лепку и фрески в итальянском стиле. Я жил событиями моего романа. Адъютант велел мне подождать в гостиной, пока генерал де Голль принимал герцога де Левис-Мирепуа и Жана Ростана. Потом настала моя очередь.

Генерал принял меня в просторном кабинете с белыми, отделанными золотом стенами. Три больших окна выходили в сад, где цвели каштаны. Очутившись перед этим легендарным человеком, я утратил всякое ощущение реальности. Впервые в жизни я видел его. Фотографии в газетах и журналах, кадры из кинофильмов не подготовили меня к потрясению. Он показался мне очень высоким и каким-то коническим: узкие плечи и выступающий живот. Чисто выбритое лицо, обвисшие веки. Он выглядел старым и одиноким, усталым и серьезным. Он читал некоторые мои книги и заговорил о них с симпатией. Я изложил ему мое намерение описать в серии романов распространение идеи свободы, принесенной из Франции в Россию в 1814 году царскими офицерами, и ее созревание от заговора к заговору, от мятежа к мятежу, вплоть до революции 1917 года. Генерал энергично поддержал мой проект, первой частью которого и была пенталогия «Свет праведных». Он заинтересовался также репортажем о государственных заводах Рено, который я тогда готовил. Кратко я рассказал о впечатлении, которое осталось у меня после обхода бюро и цехов, о беседах с инженерно-техническим персоналом, с мастерами и рабочими. Генерал задал мне немало вопросов. Проблемы людей труда, по-видимому, сильно волновали его. Мы говорили еще, помню, о новых формах работы на конвейере, которые тогда срочно вводились. Затем де Голль поднялся – это означало, что беседа закончена.

Мне довелось снова увидеть его в следующем году на завтраке в Елисейском дворце по случаю вручения Франсуа Мориаку ордена Почетного легиона первой степени. Когда генерал произнес ритуальную фразу: «Франсуа Мориак, я посвящаю вас в кавалеры ордена Почетного легиона первой степени», Франсуа Мориак вытянул худую шею, отвел длинную узловатую руку и принял орденскую ленту. На мгновение я замер, пораженный необычайным зрелищем: два исключительных человека – один прославленный в политической истории своей страны, другой – в истории ее литературы – стоят лицом к лицу, пристально глядя в глаза друг другу. Заслоняя эту картину, всплыло воспоминание. Я вновь увидел себя в маленьком, плохо отапливаемом кабинете рядом с Франсуа Мориаком, слушающем лондонское радио, вновь услышал его слова: «Если немцы победят, я откажусь от творчества, откажусь без сожаления, без

гнева. Но они не победят…» Пригласили к столу. Когда гости вернулись в гостиную пить кофе, я оказался вместе с де Голлем и Франсуа Мориаком подле окна. В приливе смелости я отважился заговорить об Алжире. Шел март 1960 года – период ожесточенного сопротивления европейского населения Северной Африки праву Алжира на самоопределение. Де Голль сказал: «Ни одна проблема не имеет окончательного решения. Проблемы видоизменяются, только и всего. Алжир не будет ни вновь завоеван, ни офранцужен. Рано или поздно условия соглашения будут найдены. Это продлится столько, сколько потребуется. Мы переживаем один из этапов…» Он говорил медленно. Взгляд его был устремлен вдаль. Я жил настоящей минутой, он ступал по далеким дорогам грядущего. Живое ли человеческое существо было передо мной или страница истории? Высшая отрешенность, презрение к преходящему, неустанная забота о величии Франции… Рядом с ним даже Франсуа Мориак походил на внимательного ученика.

Незадолго до завтрака в Елисейском дворце состоялась торжественная церемония моего вступления в Академию. Я попросил Франсуа Мориака и Андре Моруа быть моими крестными отцами. Они великодушно согласились, и я до сих пор бесконечно им за это признателен, настолько было бы мне неловко одному появиться в облачении академика. Поверьте мне, маскарад этот невыносим. Какой-то пережиток пышных празднеств былых времен. Я не мог чувствовать себя естественно в расшитом золотом мундире со шпагой на боку. Кровь застыла у меня в жилах, когда я в первый раз увидел себя в зеркале в этом наряде. Я содрогался при мысли, что в подобном одеянии придется предстать перед публикой. Напротив, похвальная речь в память моего предшественника Клода Фаррера не доставила мне затруднений. Фаррер многословен, в его творчестве нет загадок, но этот великий путешественник пленял когда-то мое воображение своими сказками и романами. Пусть в них нет психологизма, зато есть вкус к экзотике и привлекательная живость рассказа. Об этом я собирался как можно лучше сказать в своей речи. Ответную речь произносил маршал Жуэн, которому был поручен мой прием.

Когда в назначенный день я вошел в зал торжественного собрания в сопровождении Франсуа Мориака и Андре Моруа, я почувствовал, что ноги у меня подкашиваются. Выстроившиеся в ряд гвардейцы взяли на караул. Гремели барабаны. Это было величественно и мрачно. Я перестал понимать, куда меня ведут: к алтарю или на эшафот. Накрахмаленная манишка холодила грудь, жесткий воротник мундира резал шею, шпага ударяла по

бедру. А передо мной в амфитеатре плотно, плечом к плечу, сидели зрители, словно пришедшие на бой гладиаторов. Едва я начал говорить, как ощутил, что раздваиваюсь: твердым голосом я читал мою благодарственную речь, а во мне все было страх, растерянность, растроганность. Мой отец сидел в первом ряду. Мать, совсем больная, не могла прийти. Чуть дальше я видел Гит, детей, друзей. Я боролся с собой, не позволяя взглядам тех, чье мнение было мне дороже всего, отвлечь меня от Клода Фаррера. В самый разгар моей речи в зале произошло движение. У меня мелькнула мысль, что какая-то особенно отточенная фраза моей речи так взволновала присутствующих, что они не могли усидеть на месте. Реальность была прозаичнее: одной из дам стало дурно и соседи помогали ей выйти. Прервав поток своего красноречия, я ждал, пока она покинет зал, и снова кое-как подхватил нить своей речи. Наконец – заключительная ее часть, аплодисменты, и я, чувствуя, что на лбу у меня выступил пот, а сердце совсем размякло, могу сесть. Поднялся маршал Жуэн и произнес хвалу новому академику. Я склонил голову под комплиментами. Маршал Франции говорил о моем прошлом эмигранта с прямотой и сердечностью, перевернувшими мне душу. Несомненно, подлинное величие Французской академии – в традиционном духе терпимости, независимости и гуманизма, объединяющем столь разные умы.

После заседания на набережной Конти мне пришлось у себя дома во время коктейля принимать поздравления и пожимать множество рук. Наконец ушел последний из приглашенных, и я с Гит и детьми, не переодеваясь, поспешил к родителям. Нужно было подробно рассказать обо всем матери. Она одобрительно кивала головой, слабая, счастливая, уже не вполне понимая значение события. Узнавала ли она своего сына в облаченном в зеленые одежды господине? На столе были приготовлены русские закуски – отпраздновать французскую награду.

– Выходит, все эти годы вы никогда не отрывались от родителей?

– Никогда. Раз в неделю мы собирались у них на семейный обед. Этот священный обычай никогда не нарушали ни Гит, ни мой брат, ни моя невестка, ни я сам. Без волнения не могу вспоминать об этих обедах. Приходили мы точно в назначенный час, иначе отец начинал беспокоиться. Мать, когда она была еще бодра, старалась приготовить наши любимые блюда: блины, борщ, бефстроганов, пирожки, кулебяку. На столе всегда была водка. Мне кажется, нет более вкусной кухни, чем русская, и я ел и пил за четверых, как в детстве. Разговор велся по-русски и по-французски. Брат и я рассказывали, как прошла неделя, говорили

о наших планах, о работе. Родители с сияющими лицами слушали нас. Отец сидел между двумя невестками, мать между двумя сыновьями. Жена брата – русская, и Гит среди нас была единственной француженкой – наставал ее черед быть в изгнании. Иногда отец брал ее руку и заглядывал ей в глаза, как бы извиняясь за то, что она – в другой стране. В ответ она весело улыбалась. Вечером она говорила мне, что как будто вернулась домой после путешествия за пределы Франции.

После моего избрания в Академию я закончил пенталогию «Свет праведных» и тотчас взялся за короткий роман из французской жизни – «Необычная дружба». Мне хотелось обновления. Для меня одна из радостей творчества заключается в разнообразии проблем, которые я затрагиваю, и изобразительных средств, которые использую. Я не хочу быть создателем одной-единственной атмосферы, автором одной и той же книги. Закончив историю какой-нибудь группы персонажей, я стараюсь как можно дальше отойти от их эпохи, от их треволнений.

В «Необычной дружбе» рассказывается история супружеской любви, разрушенной вторжением юношеской дружбы. Это роман неясный, сложный, где невыраженное гораздо важнее выраженного, роман, который нужно читать между строк, по сути, тема книги – уничтожение настоящего прошлым. Стремясь создать впечатление наплыва одного временного плана на другой, я самым естественным образом нашел некоторые приемы: изменял времена глаголов в одной и той же фразе, сталкивал образы прошлого и настоящего, постоянно переставлял данные психологического календаря. Подобная техника письма была мне необходима, чтобы заставить читателя почувствовать хронологическую путаницу, в которой барахтается мой герой.

В основе романа – реальное событие. У нас с Гит был обычай отмечать годовщину свадьбы. Как-то вечером мы по этому случаю обедали в ресторане в Сен-Тропез. Вдруг меня охватило смутное беспокойство. Нам было так хорошо вдвоем, что я боялся появления какого-нибудь докучливого третьего. Едва успел я поделиться с Гит моими опасениями, как этот третий предстал перед нами в обличье давно потерянного из виду друга юности. Мы с трудом отделались от него. Впоследствии я вообразил в подобной ситуации героя какого-нибудь романа и его жену. Но на этот раз от друга юности избавиться не удалось. Бернар, этот друг юности, – посланец не то ада, не то рая, в зависимости от того, под каким углом зрения смотреть. Блестящий, красноречивый, жизнелюбивый, поверхностный, он оказывается между Жаном и Мадлен – парой, тесно спаянной. Своим присутствием, воспоминаниями, которые он пробуждает в душе Жана,

сожалениями, которые он ему внушает, Бернар ставит под сомнение самую основу счастья, выглядевшего неуязвимым. Он заставляет Жана усомниться в правильности избранного пути, возбуждает в нем тоску по тому, кем он мог бы стать. Он, наконец, смущает воображение Мадлен. Параллельно любовной линии в романе развивается и линия служения науке. Жан возглавляет работу в Национальном научно-исследовательском центре. Он изучает электрическую активность нервной системы. Свои опыты он ставит на кошках. Муж Мишель Моруа, доктор Робер Наке, руководитель научных исследований в C. N. R. S.,[29] снабдил меня трудами, необходимыми для посвящения в тайны этой области знания, водил меня по лабораториям и прочел мою рукопись.

До самого конца книги читатель так и не узнает, что же в точности произошло между Мадлен и Бернаром. Обманули ли они доверие Жана? Было ли в чем им упрекнуть друг друга при жизни – Мадлен и Бернар гибнут в автомобильной катастрофе? Я кончил рассказ вопросительным знаком, так как в «Необычной дружбе» я скорее подсказывал, чем показывал. Читателю предстоит самому докопаться до истины, основываясь на сведениях, которыми я скупо его снабдил. Чтобы усилить общее впечатление неопределенности, я написал книгу совсем простым языком; он не приковывает внимания, читатель в какой-то степени забывает о нем.

– А в других ваших книгах?

– На мой взгляд, обычно мой стиль более красочен. Вопреки видимости, я много работаю над фразой. Неряшливый стиль – следствие неясности мысли. Зачеркивать, править, вычищать, начинать сначала – необходимо.

– Вы придерживаетесь флоберовской концепции техники письма?

– Поверьте, все писатели разделяют ее. Даже те, кто претендует на ниспровержение устаревших догм. Выбор точного слова – закон для всех. При этом, должен заметить, сегодня невозможно писать так, как в эпоху Флобера. Я писал бы так, если бы мог, но в лучшем случае из-под моего пера выйдет старательное подражание. Окружающая нас среда налагает свой отпечаток на мышление и язык. Сам того не ведая, я подвергаюсь воздействию газет и книг, которые читаю, музыки и разговоров, которые слышу, фильмов, театральных спектаклей, афиш, которые вижу, – всей совокупности линий, знаков, ритмов, звуков, формирующих современную действительность. Человек своего времени, я мыслю и рассказываю как человек своего времени и для своих современников. Так называемый

«традиционный роман» является, по сути дела, дальнейшим развитием предшествовавших ему форм романа. Он обновляет литературу, но не потрясает ее основ. Его своеобразие не бросается в глаза, но оно тем не менее существует. И это не расчет и не обман, а всего лишь результат воздействия на писателя окружающей действительности.

– Считаете ли вы, что, написав столько книг, овладели техническим мастерством, набили руку, если можно так выразиться?

– Ни в коей мере. Каждая новая книга возвращает меня в пустыню невыраженного. Все приходится начинать сначала, как если бы я ничего еще не написал. Я думаю: «То, что я сделал до сих пор, не считается. Вот теперь я развернусь. Но сумею ли?» Энтузиазм, смешанный с тревогой, преследует меня на протяжении всей работы над книгой. Я непрерывно перехожу от воодушевления к отчаянию. Терзаюсь сомнениями, готов все бросить, но тут какая-нибудь удачная фраза или оригинальная психологическая деталь возвращают мне веру в мое начинание, и я снова принимаюсь за работу, а через несколько страниц все повторяется сначала.

Закончив и опубликовав книгу, я быстро о ней забываю: я уже думаю о следующей. Я никогда не перечитываю мои первые книги. К чему мне перечитывать их, если я ничего больше не могу для них сделать? Они отделились от меня, они живут самостоятельной жизнью в мире других людей.

– Вернемся к вашему желанию обновления. Короткий роман, наверное, легче писать, чем роман-поток?

– А какую дистанцию легче пробежать: сто метров или пять тысяч? Между двумя этими задачами нет ничего общего. План, способ и темп их выполнения совершенно разные. Я люблю длинные многотомные романы, потому что они позволяют медленно кружить вокруг персонажей, год за годом наблюдать за их метаморфозами, сгущать вокруг них домашнюю атмосферу, растягивать или спрессовывать проходящее время. Короткий роман я люблю за стремительность в развитии действия, за набросанные несколькими штрихами характеры, за недоговоренность фраз, намеками воссоздающих вымышленный мир.

– К какой литературной школе вы себя причисляете?

– Ни к какой. По-моему, нет ничего более опасного для художника, чем замкнуться в системе одной школы, какой бы она ни была. Возьмите историю литературы. Вы убедитесь, что выдающиеся произведения являются таковыми не потому, что их авторы неукоснительно соблюдали правила, принятые в эпоху,

когда эти произведения создавались, а потому, что, несмотря на эти правила, вне этих правил, автор сумел вложить в свое творение общечеловеческое содержание. Сохрани нас Бог от террора в хрупком королевстве художественной литературы! Только теоретики, жадные до разного рода классификаций, могут проповедовать превосходство одного жанра литературы над другим. Давно известно, что дискриминационные меры, направленные против той или иной формы художественного творчества, через несколько лет неизменно разоблачаются как непростительная ошибка. Невозможно направлять романический поток. Достижения в области литературы и само ее богатство зависят от ее многообразия.

– Считаете ли вы, что романист должен много читать?

– Он должен читать, конечно. Но не слишком много! Поскольку ему нужно сохранять в себе столь же абсурдное, сколь и необходимое убеждение, что его тема – нова. Если он будет помнить все, написанное и опубликованное до него на избранную им тему, он рискует приступить к работе без вдохновения, с утомлением и опасениями. Он будет критиком, а не творцом.

– Чрезмерно развитое критическое чувство опасно для романиста?

– Боюсь, оно его парализует.

– В общем, вы против интеллектуального романа!

– Нет, разумеется. Все жанры романа имеют право на существование в мире художественной литературы. Но я все же думаю, что главное качество романиста – наивность. Зрелому человеку, избравшему профессию писателя, необходима изрядная доза наивности, чтобы верить в реальность персонажей, которых он выдумывает, и в значительность истории, которую он желает рассказать. Ибо если он сам не верит в реальность своих персонажей и в значительность их истории, то как же поверят в это читатели? Чтобы убедить читателей и самого себя, он должен отдаться игре целиком, превратиться в ребенка, погруженного в грезы, вновь обрести состояние благодати, снисходившее на него, когда, совсем маленьким, он рассказывал сам себе сказки, играя в оловянных солдатиков и соорудив из книг крепостную стену. Другое непременное качество – дар по своему желанию перевоплощаться в другого человека, перескакивать из одного характера в другой, быть – с равной свободой и равной убежденностью – по очереди юной девушкой, угнетенной открытием тайны любви, стариком, задыхающимся под грузом воспоминаний, священником и пьяницей, жертвой и палачом.

Цель романиста, по моему мнению (я подчеркиваю – по моему мнению), вдохнуть жизнь в персонажи, но никогда не

судить их, не высказываться определенно за или против них. Если романист вмешивается и комментирует действие, оправдывая одного героя или осуждая другого, он развеивает чары вымысла. Внимание читателя удерживается в той мере, в какой он забывает, что писатель от начала до конца остается властелином рассказа. Две серьезные опасности подстерегают, с моей точки зрения, авторов современного романа: чрезмерная трезвость ума и поиск любой ценой новой техники письма. Истинный творец пишет потому, что его побуждает настоятельная внутренняя необходимость, а вовсе не желание испробовать неизвестную до сей поры форму выражения. Не представляю себе, как можно погрузиться в творчество, сохраняя холодную голову. Нельзя в одно и то же время творить и смотреть на себя со стороны.

– Так что же такое, по-вашему, – написать роман?

– Попытаться сделать вымысел столь же волнующим и правдивым, как подлинная жизнь. Это отнюдь не значит, что я приверженец плоской копии действительности. Действительность осмысливается автором и преображается его чувством. Художественное преувеличение и исключительность судеб и ситуаций присущи самым великим творениям. Но романист, вовлекая читателя в параллельный реальности мир, несущий печать его личности, должен сам быть зачарован собственными вымыслами, забыть все теории профессоров на час и целиком предаться экстазу литературного творчества. Я считаю, что писателям, уклоняющимся от признания этой простой истины, грозит, в конце концов, утрата человечности и творческое бесплодие. Много разума и мало чувства – от такого рода болезни умирают быстро!

– Следуя принципу чередования жанров, вы тотчас после короткого романа «Необычная дружба» перешли к длинному повествованию – в трех томах – о семье Эглетьер?

– Нет, здесь не было с моей стороны расчета. Сюжет «Эглетьеров», едва возникнув во мне, немедленно захватил меня, и я решил пуститься с моими персонажами в длительное плавание. Если бы перед этим я закончил другой многотомный роман, я принял бы такое же решение.

Действие «Эглетьеров» развертывается в наше время в самом сердце Парижа в буржуазной среде. В трех томах («Семья Эглетьер», «Голод львят», «Гниль»[30]) я рассказал историю медленного распада одной семьи. Ведущие темы романа: противопоставление здорового аппетита молодежи опустошенности людей зрелого возраста, разного рода конфликты, порождаемые жизнью современного общества, глухой треск обветшавшей социальной структуры, полной «гнили».

Первый том появился в 1965 году. Прошло много лет. Но, мне думается, некоторые проблемы, поднятые на его страницах, до сих пор не утратили своей актуальности.

– Близка ли вам среда, где происходит действие «Эглетьеров»? Часто ли вы ходите куда-либо по вечерам? Ведете ли светскую жизнь?

– Совсем не веду. По натуре я дикарь и Гит такая же, как я. Круг наших друзей очень ограничен. Больше всего нам нравится жить в нашем загородном доме. Несколько лет назад мы расстались с домом на Юге – он был слишком удален от Парижа – и купили дом в небольшой заброшенной деревушке на реке Луарэ. Это бывшая ферма, прилепившаяся к старинной колокольне. Она расположена на вершине невысокого холма, пышно названного Монт-Сен-Мишель де Гатине. Вокруг, насколько хватал глаз, расстилаются поля. Взгляд не задерживаясь скользит по вспаханной земле, по убегающим вдаль дорогам, по перелескам, очертания которых тают в воздушной дымке. Созерцание этого ландшафта, как и беспредельного морского простора, вызывает у меня ощущение величавой мощи. И как в зависимости от времени года меняется красочная гамма. Как играют, переливаясь, оттенки! То это золото созревших хлебов, то бурые тона убранных свекольных полей, то черная и голая или покрытая тонким слоем инея земля; а когда пелена дождей застилает небо, расплываются контуры холмов и силуэты деревьев, и весь пейзаж словно бы растворяется во влажной атмосфере.

Многообразие аспектов одного и того же горизонта очень дорого моему сердцу.

Когда мы нашли этот уголок, здесь стоял небольшой дом, окруженный полуразвалившимися службами. Отремонтировав дом, мы устроились в нем и храбро принялись за восстановление других зданий. Нужно было укрепить стены, пробить окна, починить крышу, построить лестницу – огромные работы впереди!

И Гит бросилась в эту новую авантюру. Она сама чертила планы, обсуждала их с местными подрядчиками, изумляя меня своей энергией. Она без колебаний мчалась из одного конца страны в другой, лишь бы раздобыть старинную черепицу, старый булыжник или обточенные камни, чтобы выложить порог или украсить подоконник. Мало-помалу службы преобразились в наше главное жилище: свинарник стал моим кабинетом, конюшня – столовой, курятник и крольчатник – сверкающей чистотой кухней; пологая лестница, найденная в клинике в Отене, вела на второй этаж, а камин, вырезанный из дерева в XYIII веке, украсил гостиную.

Португальские рабочие, копая землю возле амбара, извлекли захороненный под ним скелет. Несомненно, в далеком прошлом здесь находилось церковное кладбище. До смерти перепуганные суеверные рабочие разбросали кости и разбежались. Гит вразумляла их, уговаривая вернуться к работе. Они ворча согласились: предстояло заняться садом. Прежде всего расширить террасу, выходившую во французский сад. Вереница грузовиков привезла землю, оставшуюся после переработки свеклы на соседних сахарных заводах; землю свалили в кучи перед фасадом дома. К моему ужасу, внезапно целая гора выросла перед моим окном, закрывая горизонт. Это уж слишком! Но нет, Гит не ошиблась в расчетах. Грузовики сменили экскаваторы. Можно было подумать, что идет строительство автострады! Укрывшись в своем новом кабинете, я время от времени отрывался от бумаг и выглядывал посмотреть, как с рычанием и грохотом двигаются взад и вперед эти механические чудища. И свершилось невозможное: перед фасадом дома на одном с ним уровне протянулась великолепная терраса! Оставалось высадить деревья. Мы купили их в питомнике местного садовода. Я с шестом расхаживал по площадке террасы, определяя место для каждого дерева, а Гит, сощурившись, судила о точности моей работы. Наметив места, вырыли ямы. Мы предполагали, что, по крайней мере, треть деревьев погибнет, но они – и быстро! – все прижились! «Это же настоящий лес!» – вздыхала Гит, но лишиться хотя бы одного дерева казалось нам преступлением.

Из России мой брат привез маленькую двуствольную березку. Мы посадили ее, и изгнанница прекрасно прижилась на французской земле. Она росла лучше, чем другие купленные нами березы. Березовая рощица – чисто русский уголок в нашем саду в сердце Иль-де-Франса.

В свою очередь Гит привезла из нашей поездки в Канаду клен, и он охотно пустил корни в нашей земле. Его крона густела, ветви росли, устремляясь вверх, но, к нашему великому сожалению, листва осенью не приобретала тот пурпурный цвет, который так восхищал нас в лесах его родной страны.

Несмотря на размах работ, Гит удалось спасти от заступа рабочих старую виноградную лозу с узловатым стволом, которая увивала южный фасад дома. Ее виноградины – настоящее пиршество для дроздов. Вся страна утыкана пугалами – отпугивать дроздов, а у нас стол для них был всегда накрыт. Гит разорялась на семена – лишь бы привлечь в сад птиц. И они гнездились во всех уголках здания. Птичий свист и чириканье будили нас на рассвете. Теперь работы закончены. Дом прост, элегантен, комфортабелен – мирный приют вдали от шумных

дорог.

Тем временем наши дети, Жан-Даниэль и Минуш, обзавелись семьями и разъехались в разные стороны. Минуш вышла замуж за американца и жила с ним в Нью-Йорке. Расставшись с дочерью, Гит очень страдала от разлуки и старательно это скрывала. По ту сторону океана Минуш с трудом привыкала к американскому образу жизни. Через четыре года наш зять получил от фирмы, где служил, новое назначение – в ее французский филиал, и молодая пара вернулась в Париж. И снова наш дом наполнился жизнью.

– Вы подолгу живете в загородном доме, но, по-моему, там работаете еще больше, чем в Париже. Ваша продукция в эти годы весьма значительна. Вы не только выпустили в свет трилогию об Эглетьерах, но и опубликовали в 1965 году биографию Толстого.

– Я рассказывал, как, еще ребенком, читал вслух родителям по-русски «Войну и мир». В те далекие годы началось мое боготворение Толстого. Мысль написать о нем книгу давно преследовала меня, но я всегда отгонял ее: необъятность задачи отпугивала меня. Наконец, дружеская настойчивость одного издателя победила мои опасения. Я погрузился в работу, как погружаются в религию. Более двух лет я жил, околдованный этой исполинской фигурой, все отчетливее вырисовывавшейся по мере того, как я подвигался в моем труде. Жизненный путь некоторых выдающихся личностей (например, Лермонтова) трудно восстановить из-за недостатка сохранившихся материалов. Главная трудность изучения биографии Толстого, наоборот, в обилии, разнообразии и противоречивости документов. Только его произведения и письма составляют 90 объемистых томов юбилейного советского издания. Но ведь он в течение шестидесяти лет вел дневник. И жена его Софья Андреевна тоже день за днем записывала свои впечатления. И то же делали его дочери. И его друзья. И помощники. Кроме того, не было ни одного посетителя, который бы не счел своим долгом опубликовать воспоминания о встрече и беседе с Мастером. Эта колоссальная груда печатных материалов колебалась передо мной, подобно бездонному, покрытому плавунами болоту. Я проверял каждое мгновение, каждый факт его жизни, сопоставляя и сравнивая множество разных свидетельств, чтобы выбрать наиболее убедительное. Эти настойчивые поиски истины настолько приблизили меня к моему герою, что вскоре я мог представить его себе входящим в комнату, пьющим чай, беседующим с учениками, как если бы я в действительности был знаком с ним при его жизни. Бесчисленные фотографии, сделанные его близкими во все периоды его жизни и при всех обстоятельствах (за работой, верхом на лошади, пилка дров, на

покосе, с детьми на уроке чтения), помогали мне наблюдать его во всех его действиях. Очень быстро я понял, что нечего мне и пытаться объяснить все противоречия столь титанического характера и что я должен лишь показать его таким, каким он был. Вместо того чтобы возвести его на пьедестал, умолчав о его недостатках, я решил из уважения к нему, из любви к нему воссоздать для читателя его подлинный образ. Я не сомневался, что и человек, и писатель с честью выйдут из испытания истиной.

– Что же за человек был Толстой?

– Как ответить на этот вопрос? Не было одного Толстого. Добрая сотня их скрывалась в одной и той же оболочке с той же самой бородой. Постоянно один из них враждовал с кем-нибудь другим. Он хотел бы быть аскетом, но гордая требовательная кровь не позволяла ему до самого преклонного возраста вкусить духовных радостей воздержания. Он хотел бы пройти через благодатное очищение бедностью, но не решался подвергнуть материальным лишениям свою семью; даже когда он теоретически отказался от гонораров, он продолжал пользоваться полным достатком благодаря заботам близких. Он хотел бы превратить в пу́стынь свою усадьбу Ясная Поляна, но чем больше он проповедовал необходимость одиночества, тем больше почитателей окружало его. Он хотел бы быть отлученным от церкви, но, когда церковь действительно отлучила его, слава Толстого еще больше возросла и достигла самых удаленных уголков цивилизованного мира. Он хотел бы быть осужденным и сосланным, как многие из его последователей, но царь опасался объявить его ответственным за взрывы протеста, порождаемые его книгами. Физические страдания, нищета, произвол, тюрьма, каторга – все то, что пережил Достоевский, вовсе к этому не стремясь, Толстой сознательно искал, тщетно надеясь открыто принять мученичество.

Если драма некоторых преступников – в невозможности понести наказание, то драма Толстого в противоположном – в невозможности избежать благосостояния, которое он отвергал. Человек, несчастный оттого, что он счастлив! Не правда ли, отличная тема для размышлений о нашей эпохе с ее стремлением к добыванию материальных благ?

Толстой велик, на мой взгляд, не столько учением, которое он нам оставил, сколько тем страданием, которое он претерпел, чтобы воплотить его в жизнь, не столько своими пророчествами о будущем мире, сколько картинами жизни современного ему общества, не столько порывами к богу, сколько изумительным пониманием жизни земной. Стефан Цвейг говорил о Толстом: «Читая Толстого, кажется, что смотришь в открытое окно на

реальный мир». И действительно, каждая страница Толстого захватывает читателя непревзойденной точностью деталей. Так приходишь к убеждению, что перед тобой не опьяненный своим всемогуществом создатель, вдохнувший жизнь в персонажи, а трезвый и зоркий наблюдатель натуры, который всего лишь свободно рассказывает о том, что видит вокруг себя. Такой высшей простоты Толстой достиг изнурительным трудом, о котором красноречиво свидетельствуют испещренные правкой рукописи. Он долго накапливает красочные детали и затем с кропотливостью ремесленника складывает их в многоцветную мозаику. Какая-нибудь ненужная фраза или излишне выпуклый образ ужасают его до такой степени, что, уже отослав корректуру в Москву, он телеграфирует издателю, требуя приостановить печатание и ждать его указаний. Его проза, лишенная всяких эстетических претензий, не подвержена моде. У нее нет возраста, она не стареет – она нетленна. Кроме того, проза Толстого не является, собственно говоря, плодом вдохновения. В Толстом не было ничего от визионера. Его герои не трепещут в мистическом экстазе, как герои Достоевского. Его повествование, в противоположность повествованию Достоевского, не пронизано пророческими озарениями. Когда читаешь Достоевского, как будто слышишь прерывистое дыхание автора, охваченного неистовой страстью. Когда читаешь Толстого, слышишь равномерное дыхание ходока, идущего не торопясь вперед по широкой дороге в лучах полуденного солнца. Графика прозы Достоевского – линия ломаная, графика прозы Толстого – линия прямая. Ни на одно мгновение его исследование человеческой натуры не выходит за пределы того, что доступно непосредственному восприятию большинства людей. Поле его опытов и размышлений то же, что и у нас. Только он более глубоко, чем обычный человек, проникает в природу живых существ и предметов. Его восприимчивая натура регистрирует с равной остротой ощущения охотничьей собаки, учуявшей дичь, и юной девушки на ее первом балу. Пишет ли он о сенокосе, о ранении князя Андрея или гибели Анны Карениной, тысяча научной точности наблюдений передают психологическое состояние персонажа. Его герои, в сущности, вовсе не являются натурами исключительными. Но разве не в том именно высшая заслуга Толстого, что он незабываемым образом зафиксировал в нашем сознании людей, которые не возбудили бы нашего интереса, если бы мы встретили их в реальности?

На протяжении своей долгой жизни Толстой пережил все: он был любителем цыган и вина, игроком, солдатом, помещиком, мужем, отцом семейства, сыном церкви, ниспровергателем

религии, пророком, аскетом, ловеласом, педагогом, волшебником, хулителем искусства и гениальным писателем. Это многообразие и составляет его силу. Человечество узнает себя в его произведениях, ибо он один вместил в себе все человечество.

– Несколько лет спустя, в 1971 году, вы дополнили вашу галерею великих русских писателей биографией Гоголя. По вашему мнению, он так же велик, как и те колоссы, портреты которых вы уже набросали?

– В представлении западного читателя два колосса русской литературы – это Достоевский и Толстой, в представлении читателя русского в одном ряду с ними стоит длинноносый человечек с птичьими глазами и саркастической улыбкой на губах. И этот человечек, быть может, самый оригинальный и самобытный гений из всех, которых когда-либо знало человечество. Неожиданно, как поразительный феномен, появляется он среди писателей первой половины XIX века и сразу же, избежав каких-либо влияний, вовлекает читателя в мир, где веселье смешивается с печалью. Его первые почитатели, введенные в заблуждение детальностью его описаний, приняли его за реалиста, тогда как он – удивительнейший фантаст. Пушкин дает ему сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ», и из этих забавных анекдотов он создает произведения смешные и в то же время страшные – балаганные фарсы, в которых то и дело высовывается морда дьявола. Тут-то и возникает подлинная духовная драма этого человека, раздираемого между талантом и честолюбием, между даром, данным ему Богом, и даром, который он желал бы Богу поднести. Убежденный, что совершенное произведение искусства обладает нравоучительной властью, он считает своим долгом пожертвовать все силы ума и таланта во имя нравственного преображения ближнего. Он полагает, что будет достоин задачи, возложенной на него Богом при его рождении, если покажет добродетель привлекательной, а порок отталкивающим. Но если он в совершенстве владеет искусством изображения физического и духовного уродства человека, то гений изменяет ему, когда он пытается создавать светлые образы идеальных героев. Не имея себе равных в искусстве схватывать человеческие недостатки и превращать человеческие лица в звериные рыла, а обыденные явления – в фантастические гротески, он утрачивает все свое мастерство, когда берется за изображение новых людей, деятельных и праведных, которые будто бы спасут Россию. Рука его, созданная для резкого и сочного рисунка карикатуры, делается неуверенной и неуклюжей, когда он принимается набрасывать ангельские лики. Он хотел бы быть Рафаэлем, а был Иеронимом Босхом. Так, Гоголю

замечательно удался первый том «Мертвых душ», олицетворяющий ад в триптихе «Божественной комедии», но он терпит полное поражение во втором томе романа, возвещавшем чистилище на русской земле. Что же до Рая, то к вратам его он не осмеливается даже приблизиться.

Гоголя терзает жестокое сомнение: не покарает ли его Господь в день Страшного суда за то, что талант его служил достойным осуждения целям. Ведь если его постигает неудача в изображении существ высшего порядка, то потому лишь, несомненно, что он не достоин столь высокой миссии, ибо прежде, чем прославлять чистоту, следует самому пройти через очищение души. Тогда Гоголь разрабатывает правила, предназначенные для воспитания души, такие, например, как обязательное чтение каждое утро после завтрака главы из «Подражания Иисусу Христу» Фомы Кемпийского. Он призывает друзей нападать на него и разоблачать его недостатки и сам сурово выговаривает им, рассылая наставительные письма. Но вот с некоторых пор он заметил, что, изобличая пороки общества, сражался с царским режимом, которому должен был бы возносить хвалу, поскольку царь – наместник Бога на земле. Немедленно он кается, исповедуется, публикует «Выбранные места из переписки с друзьями», навлекающие на него гнев передовых кругов общества. Художник-революционер превращается в реакционного моралиста. Гениальный карикатурист восхваляет благонамеренность, существующий порядок, чиновничество, защищает церковь и армию, оправдывает крепостное право. Отныне вся его жизнь – жестокая внутренняя борьба в попытке разрешить все эти раздирающие его сознание и душу противоречия. Почти никаких внешних событий – и настоящая буря внутри.

Он беспрерывно говорит о себе, но чем больше он говорит, тем меньше его близкие понимают его. Сквозь толщу десятка масок, наслоившихся одна на другую, уже неразличимо его подлинное лицо. Ему легко и привольно только в мире воображения, в выдумке, в вымысле. Он как бы нуждается в скрытой от всех жизни, чтобы уберечь свою внутреннюю свободу.

Он лжет постоянно и по всякому поводу, лжет матери, сестрам, друзьям, лжет самому себе. Он опьяняется словами, как другие опьяняются чувствами. Он принимает себя за апостола, мессию. И все это проявляется с особой силой, когда он находится в женском обществе. Физический недостаток сделал его неспособным к плотскому союзу с женщиной, и он испытывает смутное желание покорить всех женщин своего окружения. Мифоман, мучимый желанием быть искренним,

гордец, принуждающий себя к смирению, импотент, осаждаемый женщинами, перед которыми он разыгрывает духовника, мистик, привязанный к мирским благам, чревоугодник, мечтающий о воздержанности, – таким вижу я Гоголя и таким я старался показать его.

В конце жизни Гоголь сжигает рукопись второго тома «Мертвых душ» и отказывается писать, повинуясь внушениям монаха-фанатика. Вскоре он умирает с криком: «Лестницу! Давай лестницу!» Врачи пытались объяснить его смерть разными болезнями: чахоткой, малокровием, нарушением кровообращения, катаром, гастроэнтеритом, но быстро вынуждены были признать, что болезнь их пациента не имеет названия в медицинских анналах. Причина гибели Гоголя в трагическом разладе между человеком и художником. Человек не был удовлетворен художником, художник восставал против требований человека.

Через несколько лет, в 1984 году, чтобы дополнить мою галерею портретов выдающихся русских писателей XIX века, я начал работать над портретом писателя, более других близкого мне по духу и сердцу: над книгой об Антоне Чехове. Давно уже я вынашивал мысль – написать его биографию, но трудность задачи удерживала меня. В самом деле, жизнь большинства крупных русских писателей полна ярких событий, а жизненный путь Чехова, на первый взгляд, выглядит однообразным. Я подчеркиваю: «на первый взгляд», ибо, всматриваясь в него более пристально, поражаешься, открывая богатства, скрытые за внешним однообразием, за этой кажущейся серостью и бесцветностью.

В Чехове меня равно восхищают и художник, и человек. Человек покоряет скромностью, прямотой, прикрытым улыбкой стоицизмом. Он был скептиком, но простодушно верил в способность человека к совершенствованию. Любил смеяться, но за его смехом пряталась глубокая печаль. Любил общество женщин, но опасался связать свою судьбу с одной из них. Он был внимателен и дружелюбен к окружающим, при этом оставаясь загадкой даже для самых близких друзей. Подтачиваемый туберкулезом, он не щадя себя работал как врач и упорно продолжал литературную деятельность, в которую не слишком верил. И говорил, что его перестанут читать через семь лет после его кончины.

Его творчество точно отражает его личность – в нем доминирует правда, ясность, объективность, окрашенные мужественной иронией. В письмах к друзьям Чехов выражает отвращение к внешнему блеску, красивостям стиля, презрение ко

всякого рода школам, интеллектуальной моде, ко всем кастам, кланам, группировкам. Он утверждает, что романист должен растворяться в своих героях и никогда не объяснять их поступки. По его мнению, писатель, вмешиваясь в ход рассказа, выходит из своей роли и за рукав тянет читателя за собой. А нужно, полагает он, оставить читателя один на один с персонажами. Он также никогда ни в рассказах, ни в пьесах не отстаивает какую-либо политическую, философскую или религиозную позицию. Он борется с социальной несправедливостью не проповедями и памфлетами, а правдивым воспроизведением российской действительности. Его искусство – это искусство нюансов, аллюзий, выпуклых характерных деталей.

Когда я читаю Чехова, у меня возникает впечатление, что очень дорогой моему сердцу друг что-то рассказывает мне вполголоса. Ни с кем из писателей, над жизнеописаниями которых работал, я не ощущал столь тесной духовной близости, столь глубокого согласия с концепцией искусства и жизни.

Совсем иными были мои чувства к Тургеневу, об удивительной судьбе которого я стал писать, закончив книгу о Чехове.

Тургенев увлек меня красотой, поэтичностью, богатством своих произведений, так мало известных во Франции, и одновременно двойственностью своей личности и своей судьбы.

Изучая его жизнь, я открыл в нем человека раздвоенного, разрывавшегося между Россией и Францией. Русский до мозга костей, большую часть жизни он прожил за границей и за границей же создал свои самые русские по духу произведения. Его томила тоска по родине, но, едва ступив на родную землю, он стремился покинуть ее. Его длительные отлучки настроили против него интеллигенцию Петербурга и Москвы. В России его осуждали, а во Франции видели в нем посланца русской культуры. Он делал все, что было в его силах, чтобы познакомить Францию с русской культурой, а Россию – с культурой французской. Братская дружба связывала его с Флобером, Додэ, Жорж Санд, Золя, Мопассаном, Эдмоном Гонкуром, и все они глубоко уважали его и восхищались им.

Другая черта его личности – страсть к знаменитой певице Полине Виардо. В течение сорока лет он не расставался с ней: он следовал за ней из страны в страну, жил возле нее, рядом с ее детьми и мужем, чувствуя себя как дома в кругу этой *приемной* семьи. Он, несомненно, был любовником Полины, но эта связь была очень короткой, и, когда их любовные отношения сменились нежной дружбой, он остался с ней, приютившись, по его собственному выражению, «на краюшке чужого гнезда».

Двойственность была и в его политических взглядах. Своими знаменитыми «Записками охотника» он способствовал отмене крепостного права в России, был другом таких революционеров, как Герцен и Бакунин, подвергался преследованиям со стороны царской полиции, но при этом осуждал любое насилие и видел спасение России в постепенном переходе от самодержавия к конституционной монархии.

Этот полуреволюционер-полуконсерватор, полурусский-полуевропеец, полулюбовник-полудруг был прежде всего замечательной личностью, терпимым, мягким, благородным человеком, но человеком, оторванным от родины. Он был писателем-реалистом с душой запоздалого романтика.

Наконец я опубликовал биографию Горького. Его первые книги появились при царском режиме, а официальной славы он достиг при советском строе. Он – живая связь между двумя этими эпохами в истории России.

В молодости бунтарь, анархист, опьянявшийся идеей свободы, враг всяческих почестей, противник всех форм правления, к концу жизни он превратился в рупор власти, в сотни раз увенчанного героя пролетарской литературы, неоспоримого главу пропаганды культуры своей родины. Меня очень прельщало проследить, как человек такой закалки и таланта через смену искреннего энтузиазма, неискреннего признания ошибок, компромиссов, резких поворотов от мятежа и отрицания любого принуждения пришел к повиновению власти и стал слепо служить ее интересам.

– Почему вы пишете биографии только русских писателей?

– Во-первых, потому, что я очень люблю русскую литературу – одну из самых богатых в мире в жанре романа. Во-вторых, потому, что знание русского языка позволяет мне использовать большое число документов, неизвестных французским исследователям. Но я никоим образом не исключаю для себя возможности написать в будущем биографию какого-нибудь значительного французского писателя.[31]

Впрочем, меня интересуют биографии не только русских писателей. Так, меня притягивали личности некоторых русских царей. Я непочтительно вторгся в личную жизнь Екатерины Великой, мелкой немецкой принцессы, ставшей, благодаря железной воле и удивительной дерзости, русской императрицей, менявшей одного за другим любовников, никогда не поступаясь своей личностью, настоящего «титана» целостности, рассудочности, властности и одновременно веселости.

Я посещал двор Петра Великого и был околдован этим гигантом, этим варваром, рвущимся к культуре, с невероятной

энергией и жестокостью встряхнувшим своих соотечественников. Он разрушал традиции, обрезал бороды и рубил головы, вырывал зубы и строил корабли, насаждал с равным упорством как европейские идеи, так и европейскую одежду, сам, орудуя циркулем и топором, овладел всеми профессиями, безостановочно воевал и возводил на болотах новый город – Петербург.

Я дрожал от страха в присутствии Ивана Грозного, представлявшегося мне шекспировским героем. Садист и мистик одновременно, он считал себя посланцем Бога на земле, которому заранее отпущены все грехи. Его маниакальная подозрительность заставляла его повсюду видеть шпионов и предателей, и он подвергал их лютой смерти. Простершись пред иконами, он между двумя молитвами отдавал свои самые чудовищные приказы. Жажда крови соединялась в нем со страстью к женщинам. Этот неутомимый блудник женился восемь раз, пренебрегая осуждением церкви. Однако посреди всех этих бесчинств он не терял из виду свою политическую миссию. Он упорно работал над реорганизацией своей страны и увеличением ее территории, с переменным успехом ведя непрерывные войны с поляками, шведами, татарами. Какой контраст с изменчивой личностью Александра I, в загадку характера которого я также пытался проникнуть.

Внук Екатерины Великой Александр I с самых юных лет проявил себя как человек непостоянный, скрытный, разрывавшийся между либеральными идеями и жестокой реальностью. Капитальными событиями его жизни была непримиримая борьба с Наполеоном – сначала в 1805 году, потом в 1812 году. После гибели Великой армии в России он счел себя посланцем самого Провидения, облеченным провиденциальной миссией, дабы искоренить дух Зла, сначала воплощенный в Наполеоне, а позже в революционерах всех видов. Будто бы просвещенный Господом, он учреждает международное братство против зачинщиков беспорядков в Европе – Священный Союз, а в своей стране устанавливает своего рода теократическую монархию, одновременно патриархальную и полицейскую, и действует столь успешно, что превращает во врагов режима всех тех в России, кто читает и мыслит. После его подозрительной смерти в Таганроге его изумленные подданные не знают – то ли им оплакивать царя – в юные годы лучезарного ангела, то ли радоваться смерти стареющего деспота.

По правде говоря, каждый из этих монархов представлялся мне героем грандиозного, бесконечного исторического романа. Я строго придерживался исторической правды, рассказывая их

историю, а между тем у меня было впечатление, что меня уносит поток воображения.

Признаюсь: в моих папках собраны материалы для биографий еще двух царей: Александра II, освободителя крестьян и убитого террористами, и Николая II,[32] слабость и ошибки которого привели к революции 1917 года.

– Как вы работаете над биографией?

– Очень просто. Начинаю с чтения всех произведений писателя, образ которого собираюсь воссоздать в книге. Затем изучаю самые разные документы (дневники, переписку, мемуары о той эпохе, различные описания), которые имеют отношение к его жизни. Собранную информацию я дополняю, просматривая биографии, которые ему посвящены. В ходе этой работы я отбираю наиболее интересные факты, те, которые лучше всего освещают психологию персонажа. По мере накопления знаний о персонаже, он – я это чувствую – постепенно обретает признаки жизни. В тот момент, когда я услышу его голос, я понимаю: можно приступать к рассказу о нем. Я говорил, что начинаю с серьезного изучения документов. Но на первом этапе я не вникаю в самые мелкие подробности. Углубление в материал я оставляю для следующего этапа работы: для самого процесса писания книги от главы к главе. Такой метод позволяет мне на всем протяжении работы над биографией ждать какой-нибудь неожиданности или развлечения. Я сохраняю иллюзию, что не все мне известно заранее. По своей привычке я сам для себя подготавливаю «напряженное ожидание» того, что случится дальше. В сущности, я могу писать биографию, только идентифицируя себя с моим героем и переживая события его жизни через него, вместе с ним и одновременно с ним.

– Это метод романиста, прилежно изучающего историю. Что вам легче писать – роман или биографию?

– Содержание романа писатель извлекает из головы. В его власти в любой момент изменить характер персонажа, впутать его в какое-нибудь непредвиденное приключение, женить его, отослать за границу, убить, наконец. Но эта абсолютная свобода сопровождается у творца непрестанной тревогой. Он ведь строит без устали карточный домик – любое дуновение грозит разрушить его. От первой до последней страницы его подстерегает опасность утерять нить повествования. Работа над биографией куда безопасней! Автор словно катится по рельсам. И его поддерживают, подпирают горы материалов. Все периоды жизненного пути героя документально подтверждены. Ничто не зависит от воли автора, от его вдохновения. Кроме того, автор не чувствует себя одиноким. Когда я воссоздаю на страницах моей

книги образы Достоевского, Толстого, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, они рядом со мной, их гений все вокруг освещает своим светом. При всем том, заканчивая биографию, я всегда вздыхаю с облегчением, ибо давно уже страдаю от необходимости шаг за шагом следовать за всеми поворотами сюжета, не мной придуманного. Воображение мое теряет терпение. Я жажду независимости. Мечтаю о романе, в котором ни характер героя, ни перипетии его жизни не будут предписаны мне исторической правдой. Так вот иду я своим путем, переходя от реального к вымышленному, чередуя свои радости: мудрые – когда занимаюсь научным исследованием, с опасными – когда предаюсь игре собственной фантазии.

– Обе эти радости тесно переплетаются, мне думается, в исторических романах, которые вы продолжаете писать. Три тома, объединенные общим названием «Наследники будущего» («Тетрадь», «Сто один пушечный выстрел», «Белый слон»), хронологически продолжают пенталогию «Свет праведных». Рассказав о восстании декабристов и его ближайших последствиях, вы приступили к проблеме отмены крепостного права и появлению терроризма в России.

– Да, это действительно главные темы моей трилогии «Наследники будущего». Самым трудным в работе над ней было воплощение этих тем в художественных образах. Ибо для меня важнее всего в романе, даже если он посвящен крупным историческим событиям, столкновение разных характеров. Поведение человека меня интересует больше, чем исторический факт, каким бы он ни был значительным. Разумеется, я сразу решил, что один из моих героев будет крепостным крестьянином. Я старался поставить себя на его место, приучал себя к послушанию и покорности, проникался его врожденной потребностью повиноваться чужой воле, но никак не мог найти сюжет. А с одним героем, даже и крепостным, романа не напишешь. Какого же господина ему дать? Вдруг меня озарило. Клим, так я назвал моего крепостного, вырос в деревне вместе со своим молодым господином – барчуком по имени Виссарион. Клим и барчук одного возраста, сначала Клим был товарищем в его детских играх, а потом стал козлом отпущения: барчук сваливал на него свои проказы. На противопоставлении их характеров я и построил фабулу. Детские воспоминания сближали Виссариона и Клима, но огромная разница в социальном положении не позволяла им стать друзьями. Клим счастлив привязанностью своего господина, он с благодарностью принимает от него любые унижения, он задохнулся бы без этого пропитанного несправедливостью воздуха. Виссарион помыкает

своим слугой, но с удивлением обнаруживает, что в поворотные моменты жизни ищет его одобрения и поддержки. Таким образом, один испытывает чувство полноты жизни, если сохраняется его рабство, другой – если сохраняется его владычество. Удовольствие повиноваться и удовольствие повелевать встречаются. Или, может быть, Клим и Виссарион – две разные стороны одного и того же сознания?

Я хорошо знал жизнь русского общества того времени, поскольку тщательно изучал ее, работая над биографиями русских писателей. Теперь я не только еще раз погрузился в уже известные мне документы, но разыскал и новые – главным образом, воспоминания и дневники бывших крепостных, опубликованные в конце прошлого века. Мысленно я переселился в Россию середины прошлого столетия. Я знал цены на масло, соль, водку, я знал даже имя дантиста, вставлявшего тогда золотые зубы, я свободно передвигался по Москве. Какая это была эпоха! Эпоха диких нравов и тонких чувств, варварских обычаев и высоких идеалов. Немало мужества потребовалось Александру II, чтобы решиться на упразднение веками существовавшего порядка!.. До 1861 года в России каждый третий человек был крепостным. Различалось несколько видов крепостной зависимости. Крепостные, прикрепленные к земле, продавались только с землей. Крепостные, находившиеся в личной зависимости от хозяина – челядь, дворня, – продавались по отдельности, в розницу. Цены зависели от качеств крепостного человека. Например, хороший повар стоил столько же, сколько беговая лошадь. Лично зависимые крепостные – таков Клим – были целиком во власти своего барина, который мог их бить, женить по своему усмотрению и за малейшую провинность отдать на двадцать пять лет в солдаты. Все же при всей тяжести своего положения большинство крепостных считало себя как бы «детьми» своего барина, ибо барин, эксплуатируя и наказывая крестьян, обеспечивал им личную безопасность и средства существования. Он брал на себя ответственность за них и, отнимая у них право самим принимать решения, избавлял от мучительных колебаний, порождаемых процессом выбора. Все крепостные ждали освобождения, но многие из них отказывались от него – так страшила их безграничная свобода. Клим был из их числа. Очень я люблю моего Клима. Я так его люблю, что не смог воспротивиться его желанию вести дневник! Этот прием позволил мне подробно проследить развитие его сознания. Виссарион – человек другого склада. Он скучает в деревне, не любит мужиков, чувствует себя чужим среди них. Он изображает из себя либерала, чтобы не отстать от моды на либеральные убеждения,

распространенной среди передовой молодежи того времени. В кругу республикански настроенных друзей он – ниспровергатель монархических институтов, у себя в деревне – крепостник, не задумывающийся о судьбах крестьян. Постичь мироощущение золотой молодежи пятидесятых годов XIX века можно, лишь хорошо зная состояние умов и нравы тех лет. Все эти барские сыновья родились и росли в мире, где рабство было законом. Даже Лев Толстой, столько сделавший для улучшения жизни мужиков, в ранней юности разделял распространенное убеждение, что возмутительно не рабство само по себе, а жестокое обращение некоторых помещиков с крепостными. Такова позиция и Виссариона. Они жили в атмосфере тайных собраний, перешептываний в университетских коридорах, искренней тяги к народу, который наделяли всеми добродетелями. Они мечтали уничтожить следы ненавистного прошлого, ничем не быть обязанными отцам за их щедроты, мечтали стать, по выражению одного из героев, «наследниками будущего». Но они не действовали. Они словно надеялись, что от самой своей вескости слова перейдут в действия. В конце первого тома Виссарион проигрывает Клима в карты. Таким образом, у раздавленного отчаянием Клима появляется другой хозяин. Во втором томе я приступаю к периоду, когда по России прокатилась волна энтузиазма, вызванная манифестом императора об отмене крепостного права. Но действительность быстро развеяла эту эйфорию. Обе стороны сначала воодушевились, потом сочли себя обойденными: помещики в праве наследования, мужики в своих чаяниях. И вот уже множатся политические пасквили, учащаются полицейские расправы, взрываются первые бомбы. Вся страна взбудоражена яростным столкновением эгоизма и доброй воли, вся страна превращена в национальное торжище, в ярмарку, где торгуют словами, чернилами и кровью. Посреди общего смятения Клим, уже свободный гражданин, тщетно пытается приспособиться к своему новому положению. На мгновение счастье возвращается к нему, когда он встречает своего бывшего господина. Виссарион – в кружке активно действующих революционеров. Он вовлекает Клима в подпольную организацию, где тот выполняет самую черную работу. Но и здесь, рядом с барчуком, Клим не находит душевного покоя: он разрывается между уважением к новому порядку и своей физической, врожденной потребностью слепо служить всякому, кто взялся бы им командовать. Он хотел бы целиком посвятить себя и делу царя, как помазанника божьего, и делу его врагов, которое он считает правым, раз его отстаивает барчук. Сбитый с толку происходящими событиями, Клим, как и Виссарион,

арестован, осужден и сослан в Сибирь. В последнем томе я рассказываю о жизни Клима, Виссариона и еще одного революционера, Степана, накануне Первой мировой войны. Все трое бежали из Сибири и, как многие политические беженцы, поселились в Париже в убогой квартирке. Жизнь их на чужбине трагична. Они зарабатывают на пропитание, мастеря зонтики. Мир, в который они попали, им чужд, они почти ни с кем не общаются. К тому же молодое поколение русских революционеров очень отличается от них. Террористические акты для них не героические поступки, а устаревшее средство борьбы, и три старика, продолжающие пророчествовать, как и во времена Александра II, вызывают у них презрительную жалость. Клим, Виссарион и Степан, двойные изгнанники – во времени и в пространстве, – варятся в собственном соку в тесноте своего жилища. Они ссорятся, оскорбляют друг друга, мирятся. Маленькие драмы, жалкие причуды старости, тоска по утраченной родине, безумная погоня за неосуществимой мечтой – вот что составляет теперь повседневную жизнь этого крошечного мирка. Тем временем политический горизонт омрачается, приближается война, зреет революция. Дальнейшие события русской истории я описал в цикле «Пока стоит земля».

Не могу вспоминать о «Наследниках будущего», не возвращаясь мысленно в наш дом на реке Луарэ. Там, во время моих одиноких прогулок по окрестностям, явился мне образ Клима, пишущего свой дневник в каморке под лестницей господского дома. Множество разных деталей, включенных потом в повествование, пришли мне в голову, когда я шагал, подставив лицо ветру, по тропинкам, проложенным через поле и исчезающим в зарослях. Но не подумайте, что это сельское пристанище было для меня неким парником для выращивания литературных произведений. Дружба, развлечения, смех наполняют нашу жизнь.

Мы живем в большом доме, дом поменьше занимают дети. Мы ходим друг к другу то завтракать, то обедать, поддерживая конкуренцию между двумя кухнями. Каждая хозяйка старается удивить гостей каким-нибудь новым блюдом. Очень долго навязчивой идеей Гит было научиться печь русские *блины* по рецепту, который ей дала моя мать, или гречишные блинчики по рецепту, который ей удалось выманить у старой коррезской крестьянки. Но почему-то всегда у *блинов* был вкус американских pancake,[33] а у гречишных блинчиков привкус папье-маше. Несомненно, хранительницы кулинарных рецептов, скрепя сердце выдавая свои секреты, утаили некие тонкости в приготовлении этих блюд.

Часто я и мой зять Дон совершаем далекие прогулки на велосипедах. Он американец, и сначала я заставлял себя говорить с ним по-английски, дабы освежить познания в этом языке, приобретенные еще в лицее. Но с трудом подыскивать слова, с трудом крутя педали, – это уж слишком, и вот мы, катя рядом, переходим на французский, и уже я поправляю его ошибки. Меня интересует и удивляет его точка зрения, потому что, хотя он живет во Франции, он видит ее как бы со стороны. Кроме того, я расспрашиваю его о Соединенных Штатах. Я пытаюсь, слушая его, проникнуть в психологию этого народа, великодушного и наивного, от каждой перемены настроения которого содрогается планета. Нередко к нам присоединяются друзья наших детей, и тогда по дороге тянется вереница велосипедов. Я стараюсь не отставать, потею, тяжело дышу, в такие минуты мне представляется более важным благополучно преодолеть подъем, нежели удачно закончить главу. Есть и еще одно спортивное развлечение – пинг-понг. Тут я убеждаю себя, что мой глаз по-прежнему точен, а движения быстры, но к концу партии ноги у меня подгибаются.

Решительно я не в форме, и молодежь берет верх надо мной. Непонятно почему я испытываю прилив нежности. Однако я не всегда узнаю себя в них. Мой сын Жан-Даниэль, например, – полная моя противоположность. В будничной жизни он прагматик, а я – мечтатель, у него искусные руки, у меня – неумелые, он одержим механикой и электричеством, я – литературой, он – оптимист, а меня вечно гложет беспокойство. Он воспитывался вдали от меня, но стал членом нашей семьи. Любопытно, что некоторыми чертами характера он больше похож на Гит, а у Минуш больше общего со мной. Вот вам и опровержение законов наследственности! Случается, друзья помогают нам ухаживать за садом. Мишель Моруа, наверное, помнит, как потратила полдня, стараясь, сидя на корточках, воткнуть слабые росточки в щели между камнями. Что же до художника Андре Бронекера, то он, устроившись на террасе, курит сигарету за сигаретой и, окутанный табачным дымом, не устает восхищаться чистотой деревенского воздуха. Я ценю поэтичность его живописи и живость беседы. Великий любитель фильмов и романов, он, как и я, живет напряженной работой воображения. Нередко я обсуждаю с ним мои литературные проекты. Он даже меня вдохновил: стал прототипом персонажа в одном из моих романов.

По соседству с нами живет еще один художник. Он – мудр: никогда не покидает свое сельское пристанище. Я с равным удовольствием слушаю, как он восхищается пейзажами вдоль

берегов Луарэ, как рассказывает о работе над картиной или о студенческих годах. Он побуждает меня взяться за кисти, но я колеблюсь. Напротив, я бы хотел, чтобы Гит серьезно занялась скульптурой. Она не училась этому искусству, но интуитивно умеет передать сходство и вдохнуть жизнь в свои фигуры, не прибегая к уловкам ремесла. Мне нравится следить за ее легкими точными движениями, когда она с резцом в руке передает игру света и тени на поверхности глины.

Дом художника рядом с нашим. Во время школьных каникул его жена устраивает пансион для детей. И сразу соседний сад наполняется криками, смехом, визгом, беготней. Наш внук Эдуард не в силах усидеть на месте, ему не терпится поиграть с другими детьми. Как его удержишь? Он возвращается ближе к вечеру перевозбужденный, всклокоченный, и только Минуш с ее мягкой настойчивостью может уложить его после обеда в кровать. Часто Минуш и Гит совершают набеги на соседние деревушки в поисках старинного предмета мебели или редкой безделушки. Они также питают нежность к предметам, которые, переходя из поколения в поколение, сохранили немного души своих бывших владельцев. Они роются в лавках старьевщиков и местных антикваров и с триумфом возвращаются с приобретениями, ценность которых нередко, честно говоря, от меня ускользает. Но раз довольны они, то доволен и я. Я дорожу их добрым согласием. И не устаю удивляться продолжительности их бесед и разнообразию тем. Когда они говорят по телефону, я знаю: линия занята надолго. На многие вопросы у Минуш твердые ответы. Она тоже читает мои рукописи и после некоторого колебания высказывает свое мнение. Я ценю ее суждения, потому что они откровенны и бескомпромиссны, как и сама молодость, которая их внушает. Никаких нюансов. Жесткий взгляд. Безапелляционный тон. Это или хорошо, или плохо. Я возражаю. Гит вмешивается, и вот уже вся семья вовлечена в спор.

Вы понимаете, вот такие незначительные на посторонний взгляд мелочи наполняют жизнь радостью, а их совокупность помогает нам противостоять ударам судьбы. Я думаю о Гит, сажающей тюльпаны, срезающей розы, болтающей с Минуш или шепчущейся с внуком Эдуардом, лепящей из глины какую-нибудь фигурку или спорящей со мной о характере какого-нибудь моего персонажа. Дойдя до таких мыслей, я останавливаюсь. Я понимаю: о настоящем счастье рассказать невозможно.

– В «Необычной дружбе» вы устами одного персонажа выражаете огорчение по поводу того, что Прованс обезображивается бессистемными застройками. Не происходит ли то же самое и в вашей деревне?

– Да, конечно. Когда мы не выходим за пределы нашего сада и ограничиваемся видом старой колокольни, мы можем верить, что нас окружает деревня былых времен. Но стоит нам выглянуть наружу, как наше заблуждение рассеивается. Вырубили редкие деревья, придававшие столько очарования улочкам, заменили поросшие травой обочины асфальтированными тротуарами, неудачно почистили фасады ферм, заменили железом старинную черепицу на крышах, понастроили везде ангары с покрытием из гофрированного железа. И в довершение всего муниципалитет распорядился для хранения воды вырыть, как раз напротив нашей террасы, огромную продолговатую яму, а края ее укрепить песком. Эта ужасная лужа так и притягивает взгляд, точно рана, нанесенная пейзажу. Кроме нее, ничего уже не замечаешь. Мы думали замаскировать ее, обсадив тополями, но я сомневаюсь, что заслон из листвы вернет линии горизонта былое благородство. Несмотря ни на что, я очень привязан к этому клочку земли. Я чувствую себя здесь так далеко от Парижа! Как бы растворившимся в природе, далеким от шума и суеты города. Возвращение в столицу – особенно если нужно вернуться в воскресенье вечером или в понедельник утром – тягостно. Поток машин, ползущих по шоссе, неожиданные заторы, нескончаемые пробки… Через боковое стекло в машине, идущей впритирку с нашей, я вижу парижскую семью, измученную сорока восемью часами, проведенными на свежем воздухе. Унылость предстоящей недели уже обволокла этих незнакомцев. Они разговаривают между собой, но слов я не слышу. Вдруг меня охватывает желание пересесть к ним, вмешаться в их существование и выяснить, живые ли это «персоны» или мои персонажи?

– В сущности, вы постоянно в поисках персонажей, на них держатся ваши романы. Когда я перебираю индивидов, созданных вашим воображением, я поражаюсь разнообразию их характеров. Один из них, о котором мы еще не говорили, заслуживает, на мой взгляд, отдельного разговора. Некоторые читатели даже упрекали вас за него. Это Андре – герой романа «Камень, лист и ножницы».

– Создавая образ Андре, я предполагал, что его появление в галерее моих персонажей вызовет протесты. Но, выбирая сюжет романа, я руководствуюсь моим собственным интересом к той или иной истории, к тому или иному характеру, а история и характер Андре меня очень увлекали. Я вижу в нем человека бесконечно доброго, но и бесконечно инфантильного. Он – гомосексуалист, и некоторые читатели ему этого не прощают. Я знаю это из писем, которые получил. По мнению некоторых, гомосексуалист не имеет права на место в художественной литературе. Писателю дозволяется выбрать героем рассказа

убийцу, клятвопреступника, маньяка, фальшивомонетчика, но не гомосексуалиста! Так вот, мой Андре гомосексуалист. В его натуре много женственного, он благороден и великодушен, у него нежная душа, и он безоружен перед повседневной реальностью. Он художник и декоратор. Живет в небольшой парижской квартирке, поклоняясь дружбе и искусству, подбирая бродячих кошек и бездомных юнцов. Неожиданно в это призрачное существование врываются два персонажа и круто его меняют. Это обольстительный юноша Орелио, странный, властный, честолюбивый, циничный, и девушка – очаровательная и ослепительная Сабина. Андре влюбляется в Орелио, а к Сабине испытывает двойственное чувство. В ней заключена именно та доза женственности, которую он способен воспринять, – будь эта доза выше, его охватило бы отвращение. Сабина становится любовницей Орелио. Их бурная связь и восхищает, и огорчает Андре. Он счастлив только подле этих двоих, которые и любят, и терзают друг друга, а эти двое счастливы, только если Андре – свидетель их поединка. Всех троих связывает смятенность чувств и ощущение непреходящей опасности. Втроем они ведут игру то комическую, то трагическую, подобную старинной игре «камень, лист и ножницы». Каждый из трех игроков по очереди как будто одерживает верх и утверждает свое превосходство, но следующий ход разрушает их непрочное преимущество. И Андре, как наиболее ранимый, разрываясь между дружбой и любовью, незаметно утрачивает представление о реальности. Вообще, я не люблю персонажей, выкроенных из одного куска. Мне интереснее обнаружить слабое место в цельном характере, порыв великодушия в душе эгоиста, содрогание от ужаса, настигшее смельчака.

– Другой сложный персонаж – Анна Предайль, героиня романа, который вы вслед затем опубликовали. Был ли у нее прототип?

– Нет. «Анна Предайль» – собирательный образ, в ней совместились черты характера пяти-шести знакомых мне молодых женщин. Будь у меня перед глазами одна Анна Предайль, я бы не сумел точно изобразить ее. Я не портретист и не умею схватывать сходство. В большинстве случаев мое воображение вмешивается в действительность и преобразует ее. Писатель всегда в большей или меньшей степени – похититель обломков и торговец масками.

В «Анне Предайль» я хотел показать замкнутость людей, живущих под одной крышей. Два человека, слабых, уязвимых, выбитых из колеи, заполняют жизнь Анны – отец и любовник. Права она или нет в своих настойчивых попытках вырвать их из обыденности? Каким образом альтруизм перерастает в тиранию? Навязывать своим близким образ действий, не соответствующий

их душевному складу, – не значит ли это подменять собой Господа Бога? По своему обыкновению, я не осуждаю и не оправдываю своих героев. Я даю им жить под наблюдением читателей со всеми их достоинствами и недостатками.

– Вы и в жизни, как и в романах, стремитесь не выступать в роли судьи?

– Да. Я всегда ищу смягчающие обстоятельства для самых сумасбродных поступков. Я легко ставлю себя на место других. По правде говоря, если ад существует и если в один прекрасный день я буду туда низвергнут, самой тяжкой карой, которую могли бы там на меня наложить, была бы обязанность вечно судить ближних.

– Сразу же после «Анны Предайль», короткого романа, вызванного к жизни современной французской действительностью, вы обратились к «франко-русской сюите» – трилогии «Москвич» («Москвич», «Тайный разлад», «Огни утра»). В серии ваших романов о России трилогия «Москвич» хронологически предшествует циклу «Свет праведных», действие которого начинается в 1814 году. Вы написали эту трилогию, чтобы дополнить ваш рассказ о «путешествии идеи свободы из Франции в Россию»?

– Конечно, но и для того, чтобы рассмотреть культурные и эмоциональные взаимоотношения, всегда загадочно соединявшие эти столь непохожие друг на друга народы. Мне хотелось также обрисовать глубокий душевный кризис, через который проходит молодой эмигрант, вынужденный выбирать между страной, где родился, и страной, куда его забросила судьба. Я уже обращался к этой теме в романе «Чужие на земле», но там моим героем был молодой русский эмигрант, попавший в Париж после большевистской революции и мало-помалу поддававшийся обаянию Франции. На этот раз героем должен был стать молодой эмигрант-француз, очарованный Россией. В данном случае речь, следовательно, могла идти о сыне какого-нибудь французского роялиста, бежавшего из Франции после революции 1789 года и поселившегося в России. Сюжет точно определял время действия.

Итак, Арман де Круэ – молодой французский эмигрант двадцати одного года, живущий в Москве с самого раннего детства. Отец его, спасаясь от террора, приехал в Москву в 1793 году. Отца и сына приютили Березниковы, богатая и знатная русская семья, воспитавшая маленького Армана в духе любви к России, к русской природе, русской культуре. Но Арман в равной степени пропитан и утонченной французской культурой. Француз по образованию, русский по привязанностям, он переживает мучительный внутренний конфликт, когда войска Наполеона вторгаются в страну, ставшую его второй родиной. Семья

Березниковых в панике бежит из Москвы, надеясь найти приют в своих дальних поместьях, а Арман остается в городе возле умирающего отца. В опустевшей Москве в отчаянии ждет он вступления в город врага одной с ним крови, врага, который говорит на его родном языке. А в городе начинаются грабежи, беспорядки, возникает колоссальный пожар. Ненастоящий русский, Арман защищает страну, которая не хочет его знать, ненастоящий француз, он помимо своей воли оказывается в отступающей наполеоновской армии.

С самого начала работы над романом этот персонаж – непостоянный, колеблющийся, пылкий, раздираемый внутренними противоречиями, то и дело обманывающийся – чрезвычайно увлек меня. Мечущийся между двумя враждебными лагерями, Арман де Круэ – антигерой, гражданин вселенной, современный юнец в костюме 1812 года. Я был очень рад снова встретиться с ним в невероятной неразберихе отступления наполеоновских войск из России («Тайный разлад»), а затем в Париже, где он живет после падения Наполеона вместе с Натальей Ивановной Березниковой и ее дочерью Екатериной («Огни утра»).

В Париже Арман привыкает к родной стране. Франция, еще ослабленная кровопролитной войной, начинает постепенно оправляться и снова обретает надежду. Царствует Людовик XYIII, аристократия вернула себе привилегированное положение, останки Людовика XYI и Марии-Антуанетты торжественно перенесены в королевскую усыпальницу в Сен-Дени. Однако некоторые умники находят Людовика XYIII недостаточно либеральным, и, когда Наполеон высаживается в бухте Гольф-Жуан, политическое возбуждение с новой силой охватывает страну. Никогда еще политические убеждения не менялись с такой быстротой, как в те дни. Спать ложатся роялистами, просыпаются бонапартистами. Как Арман разрывался между Россией и Францией, будучи не в состоянии сделать выбор, так и французы разрываются между королевством и империей. Однако не политические проблемы причиняют более всего страданий моему герою. Он угнетен смертью любимой девушки и лишь как зритель наблюдает за возвращением Наполеона. Но если в России его подозревали в тайных симпатиях к Франции, то во Франции его подозревают в симпатиях к России. Здесь, как и там, оказавшись на положении обвиняемого, заключенный в тюрьму, Арман окончательно перестает понимать, где ему искать точку опоры. Хаосу, царящему в его душе и в мыслях, соответствует хаос, царящий в стране. Наконец происходит сражение под Ватерлоо. Арман освобожден из тюрьмы. В столицу Франции

вновь возвращается Людовик XYIII и вступают победоносные армии союзников: пруссаки, австрийцы, англичане и, разумеется, русские. Но Париж, занятый русскими войсками, – зрелище для Армана столь же невыносимое, как и Москва, захваченная французами. Бесславная смерть на берегу Сены от руки казака-мародера – таков вполне логичный конец зигзагообразных блужданий героя от одной его родины к другой.

– Значит, в центре романа – проблема принадлежности к двум родинам!

– Да, хочет Арман или нет, в нем сталкиваются две культуры, он – вечный странник, человек ниоткуда, переводчик вопреки своей воле. По существу, «Москвич» – роман о любви между молодым эмигрантом и двумя его родинами, разрывающей его сердце. Но с главной темой переплетаются и другие: тема «коллаборационизма» и порождаемого им душевного разлада, если причина его не алчность и не мщение; тема расшатывания веры в идеалы в кризисные времена; тема заблуждений чувств, слишком поздно осознанных… Вся трилогия пропитана духом уловок, политических и любовных измен. Нет ничего прочного в вечно меняющемся мире. Дороги, наилучшим образом проложенные, никуда не ведут. Неумолимая судьба развлекается, расстраивая замыслы людей.

– Кто в вас был больше удовлетворен созданием трилогии «Москвич» – историк или писатель?

– По-моему, в романах этого жанра историк должен служить писателю. Я расположил действие трилогии между 1812 и 1815 годами вовсе не ради удовольствия описать пожар Москвы, переход через Березину или нерешительность парижан в период Ста дней. Нет, этот период был необходим мне потому, что он позволял наилучшим образом осветить проблемы, мучившие моего героя. Хронология, когда речь идет о романе, имеет значение, только если она помогает обогатить психологию персонажей. В моем романе меня интересовал Арман де Круэ, а не Наполеон. Однако, и это само собой разумеется, я тщательно изучил ту эпоху. Литература об Империи и Реставрации – мемуары, письма, разного рода исследования – так многочисленна, что само ее обилие представляет опасность для романиста. Он может оказаться в плену у эрудиции, а как раз этому, я считаю, надо всячески сопротивляться. Автору нужно иметь мужество отказаться сообщить читателю все, что он знает о нравах былых времен. Стирать бесполезные черты, даже если они – итог увлекательных поисков в библиотеках. Добиться, чтобы документация пропитывала ткань романа, но не отяжеляла ее. Пережить события книги не как равнодушный, трезвый,

всезнающий писатель, который их изучает и комментирует со стороны, а как человек того времени, погруженный в самую гущу повседневной действительности, закрученный, заверченный, ослепленный событиями, которые превосходят его понимание и последствия которых он не может предугадать. Только соблюдая все эти условия, романист избежит грозного упрека Дидро: «Вы губите историю вымыслом, а вымысел – историей». Впрочем, очень часто многие точные сведения, которыми романист владеет, но в рассказе не использует, хорошо служат ему – они поддерживают его убежденность рассказчика. Допустим, я знаю, например, сколько стоила в России упряжка лошадей для прогона в тридцать верст. Эти сведения, даже если они и не войдут в текст, помогут мне снарядить моего героя в путь. Его путешествие станет для меня самого более правдоподобным. Мои измышления приобретут в моих собственных глазах оттенок истины.

Все время работы над трилогией «Москвич» я замечал удивительное взаимодействие между уроками прошлого и настоящего. Тогда, как и теперь, тревоги и надежды людей незначительных, имена которых не хранят анналы истории, сметаются стремительными поворотами политики, кровавой глупостью войн, абсурдностью фанатизма во всех областях. В периоды крупных исторических сдвигов личное счастье непрочно. Там, где я искал различий, меня поражали аналогии. Я жил под впечатлением, что бреду одновременно по дорогам прошлого и настоящего.

– Роман «Грембоск» вы писали с тем же чувством?

– В «Грембоске» я тоже обратился к проблемам, важным во все времена. Это все тот же конфликт между личными стремлениями человека и правительственным гнетом, произвол неограниченной власти, безумие творца, разрушающего свою жизнь ради совершенства своего творения… На этот раз действие развертывается в эпоху царствования Петра Великого между 1721 и 1725 годами. Таким образом, хронологически место романа как раз перед серией «Москвич». Впрочем, по-моему, все мои «русские романы», если уж употреблять столь удобное выражение, это, в сущности, одна и та же история – история французско-русских взаимоотношений, только в периоды разных царствований. Я бы сказал, что в определенном смысле эти романы образуют единое целое, все части которого выстраиваются последовательно – от «Грембоска» до «Чужих на земле».

В «Грембоске» меня увлекала мысль рассказать о жизни французского архитектора в разгар строительства Петербурга. Весь город – стройка, где работают приглашенные Петром Великим и соперничающие между собой художники, где судьба

рабочих тяжела, где раболепствуют придворные, где шутовские процессии, фейерверки и смертные казни сменяют друг друга… На этом роскошном и варварском фоне я и представил себе моего Грембоска, прибывшего с женой и шестилетней дочерью в Петербург строить дворец для камергера Ромашкина. Коренной парижанин, Грембоск совершенно теряется в непривычной для него обстановке.

Новый город, сооружаемый на болоте, а не на твердой земле, – творение царского самовластья Петра Великого. Порвав с традициями предков, из Москвы, древней столицы государства, он перевез царский двор в Петербург и приказал всем строить себе здесь дома в соответствии с точным планом города и участвовать под угрозой штрафа в своих сумасбродных празднествах. Величие и извращенность пугающе сочетались в натуре Петра Великого, всем интересовавшегося, за всем наблюдавшего, везде присутствовавшего. Грембоск чувствует себя чужим в столь странном мире, но добросовестно выполняет порученное ему дело. Царь, довольный его работой, предлагает ему гораздо более трудную задачу – постройку собора. И Грембоск ослеплен, порабощен: он мечтает о создании шедевра, о дерзком сооружении на грани возможного, в котором европейская архитектура соединилась бы с византийской живописностью. С этого момента все рушится вокруг него. Он ненавидит блестящий и в то же время низменный образ жизни, к которому принуждает его государь, он сознает, какая угроза его домашнему очагу таится в присутствии Ромашкина, он чувствует, как петербургский туман обволакивает его разум, но он одержим навязчивой идеей и всем готов пожертвовать ради совершенства своего творения. Не правда ли, есть роковая неизбежность в том, что художник, камень за камнем возводя свое творение, одновременно разрушает свою собственную жизнь? Только ценой человеческих страданий может быть осуществлено сверхчеловеческое предприятие. Художник верит, что наваждение завершится апофеозом, в действительности же оно приводит его к безумию.

Всю эту историю я хотел окутать фантастической и туманной атмосферой Петербурга. Кроме того, в моих предыдущих романах я никогда не выводил на сцену значительную историческую личность, а здесь я чувствовал себя в некотором роде вынужденным предоставить слово Петру Великому. Я выразился точно: вынужден! В самом деле, первоначально Петр Великий оставался на заднем плане повествования, на некоем подобии Олимпа. Его деспотичная власть была воплощена, в моем представлении, в образе камергера Ромашкина, который не

только передавал Грембоску приказания сверху, но и олицетворял в его глазах верховную власть. Но это лишь значило, что я плохо знал истинную натуру Петра Великого. По мере того как я проникал в его биографию, я все яснее понимал, что он никогда бы не удовольствовался посредником для руководства своим архитектором. Летописи того времени свидетельствуют: этот удивительный властелин всегда искал прямого, человеческого контакта со своими подчиненными, и я совершил бы историческую ошибку, противясь частым встречам царя с моим героем. Так, благодаря силе своего характера Петр Великий водворился в моем рассказе, и роман о Грембоске вдруг превратился в роман о Грембоске и Петре Великом, а у меня вместо одного главного героя оказалось их два. Один возводил собор, другой строил империю, и оба были охвачены безумием творчества. Неистовая натура Петра подчеркивала слабость Грембоска, характер одного выявлял и объяснял характер другого, и уже не в моей власти было их разлучить. Несмотря на все то, что я знал о кровавом и беспощадном царе, я не мог противостоять ему и, как и Грембоск, был околдован и порабощен пламенем его взгляда и стремительностью решений.

Чтобы отвлечься от гнетущей атмосферы «Грембоска», я сразу принялся за чисто французский роман из современной жизни – «Витая в облаках».[34] Его героиня – простодушная старая дева, чудаковатая и безответная, которой помыкает ее властная подруга. Обе они не замужем и живут вместе в добром согласии: одной нравится покоряться, другой – верховодить. И вот однажды к ним является чудесный обворожительный юноша и разрушает их игрушечный мирок. Не воплощение ли это самого дьявола?

Затем в романе «Заключенный № 1» я снова вернулся к прошлому России – действие происходит в царствование Екатерины Великой. И еще один резкий поворот – я вновь в послевоенной Франции с моей «Виу» – восьмилетней девочкой, скрытной и пылкой, старающейся воскресить образ убитого немцами отца: потрясение оставило пробел в ее памяти. Она живет в Ля Пюи у родителей матери и в окружении этих строгих, скучных, набожных людей пытается проявить пробуждающуюся в ней жажду жизни. Она словно источник чистой воды, прорывающийся сквозь толщу опавших листьев. Роман навеян воспоминаниями Минуш о ее детстве: она рассказывала о своих детских годах с очаровательной непосредственностью и иронией, и я до сих пор ей за это признателен. Разумеется, я изменил характеры персонажей, придумал разные происшествия – в моем рассказе все «неправда», но в его основе – подлинная жизнь.

За «Виу» последовали в той же романической французской

«струе» «Чужой хлеб», где описывается воздействие детей на душу закоренелого холостяка, и «Насмешка» – портрет писателя-неудачника. Он живет со своим котом, безнадежно вздыхает возле своей молодой любовницы и наслаждается, с пугающей ясностью анализируя свое падение.

Еще один прыжок через годы и границы, и я в России с моей «Марией Карповной» – деспотом в юбке. Она тиранствует не только над крепостными, но и над своими взрослыми сыновьями Алексеем и Львом. Заперевшись в своем поместье, она с маниакальным сладострастием терзает своих близких, парализуя их действия, уничтожая как личности. А вокруг – упоительная красота русской деревни, патриархальные нравы, таинственные ритуалы народных верований – так контрастирующие со злой судьбой тех, кому не повезло: они жили возле Марии Карповны и дышали одним воздухом с ней.

– Ваши родители, как обычно, помогали вам своими советами в ходе вашей работы над последними книгами о России?

– Нет, последние книги были опубликованы уже без них, и я бесконечно сожалею об этом. Моя мать умерла в 1963 году. Отец пережил ее на четыре года, но владевшая им меланхолия отрезала его от мира. Вскоре он заболел. Ему было девяносто три года, и он принимал нас лежа в постели – исхудавший, слабый, с замутненным сознанием. Его уже не интересовали наши рассказы о себе или о других. Иногда он оживлялся, воскрешая в памяти какое-нибудь далекое воспоминание о России. Но по большей части он оставался погруженным в прострацию, неотрывно глядя на каминные и ручные часы, разложенные перед ним. Он очень следил за тем, чтобы они показывали точное время. По-видимому, он ждал мгновения окончательного ухода. Он ждал его с нетерпением. Жизнь стала ему в тягость. Две пожилые русские сиделки – одна дежурила днем, другая ночью – без конца препирались, встречаясь в прихожей. Навещая отца, я становился невольным свидетелем их мелких происков. Отец просил меня не отчитывать этих женщин, от перебранки которых у него болела голова. Беспомощный из-за своей болезни, он был в их власти и мечтал только об одном: уйти с миром. Он тихо угасал. Кончились для нас с Гит шумные, согретые душевным теплом семейные обеды. На стене в столовой висела простая картина, изображавшая русскую деревню ранней весной. Дом еще покрыт снегом, но фасад розовеет в лучах бледного солнца. Эта картина теперь у моего брата. Невозможно без грусти смотреть на нее. Когда я потерял отца, у меня возникло чувство, что нити, связывающие меня с Россией, разом оборвались. У меня больше не было корней. Меня несло течением. Холод окружал меня. И

потом это странное ощущение, что ты оказался на передовой линии. Я часто размышляю о судьбе моих родителей, об их жизни, разбитой революцией, о тех муках, которые они перенесли, привыкая к изгнанию…

Медленное угасание моего отца в старости и воспоминание о нем побудило меня, хотя я долго колебался, написать «Стук одинокого сердца». В этом романе, посвященном его памяти, я рассказал о страданиях русского эмигранта, как и он, девяносто трех лет, который не сумел ни адаптироваться в приютившей его стране, ни вытравить из памяти чарующий образ России, откуда его изгнала большевистская революция. Жизнь вокруг него продолжается: заняты делами двое его сыновей, строятся планы, завязываются романы, разражаются политические перемены, тогда как поле его собственных действий день ото дня сужается.

Он и сиделка, которая за ним ухаживает, составляют пару, надрывающую душу, но и комическую: он не выносит ее, но не может без нее обойтись. Спасаясь от безотрадной реальности, он все чаще возвращается к воспоминаниям о России: такой огромной и такой счастливой, так отличающейся от французского мирка, погрязшего в мелочах будничного существования.

И мало-помалу прошлое убивает настоящее, греза вытесняет жизнь. Все это происходило на моих глазах, я ощущал это всей своей плотью, наблюдая, как отец необратимо погружается в меланхолию. Конечно, я усложнил действие, придумал разные эпизоды, изменил характеры; отец скончался, как я уже говорил, в 1967 году, он не дожил, как герой книги, до событий мая 1968 года; ему не пришлось оплакивать преждевременную смерть сына и пр. Я точно воссоздал в романе «Стук одинокого сердца» все то, что я перечувствовал, сидя у изголовья моего умиравшего отца.

Ограничусь тем, что скажу: это произведение – выражение понимания, почтительности, прикрытой улыбкой нежности. Написав роман, я спросил себя: имею ли я право публиковать его – слишком уж глубоко он связан с личными воспоминаниями, и решил сначала посоветоваться с братом. Если его смутит обнародование прошлого нашей семьи, я спрячу рукопись в ящик.

Он прочел мой текст с волнением и благодарностью. Он даже напомнил мне несколько подробностей жизни нашего отца, ускользнувших от меня. Ободренный, я опубликовал книгу с двойным чувством: что совершаю нескромность, но и выполняю долг сыновней преданности.

В основе моего последнего романа «До завтра, Сильви» – тоже реальные события. Давно уже я хотел написать продолжение «Виу», но с каждым годом откладывал проект из страха повредить моей маленькой героине, проводя ее через трудный подростковый

возраст. Целых шесть лет я набрасывал черновики и тут же их рвал. Потом неожиданно взялся за окончательную редакцию.

Как и для «Виу», Минуш послужила если не моделью, то четким ориентиром. Я вам рассказывал, как страстно она увлекалась классическим танцем и в каком была отчаянии, когда по рекомендации врачей ей пришлось распрощаться с балетом. Эту драму несостоявшегося призвания я и сделал центром моего романа. Конечно, я обогатил сюжет другими воспоминаниями, а также придуманными перипетиями. Роман «До завтра, Сильви» – смесь вымысла и реальности – дорог мне как часть моего прошлого. Отголоски моих собственных чувств растворены среди многих других, не имеющих ничего общего с тем, что я пережил рядом с Гит и Минуш.

«До завтра, Сильви» – открытие искусства, любви, ревности – открытие жизни моей пятнадцатилетней героиней, нетерпимой и чувственной. Она противостоит людям зрелого возраста с их, как она выражается, «подозрительной кухней»: ложью из осторожности, уступчивостью из корысти, с их сменой партнеров; она возвышается над ними чистая и суровая, неукротимая и ранимая – уже женщина и еще ребенок.

– А что вы собираетесь писать теперь?

– Множество сюжетов соблазняют меня. Два уже существуют в набросках, но пока упрятаны в ящик. Предпочитаю о них не говорить. Они созревают медленно… А сейчас я работаю над продолжением романа «До завтра, Сильви», где вновь появляется моя Виу, ей двадцать один год, и она по-прежнему прямодушная, чистосердечная и пылкая.

– Вы с большим волнением рассказывали о печальном деловом опыте ваших родителей в изгнании. Все-таки успехи сыновей приносили им утешение. А вам самому приносит удовлетворение та или иная форма общественного признания?

– Да, безусловно, до некоторой степени. Но это удовлетворение вовсе не убеждает меня в художественной ценности моих книг.

– По крайней мере, огромное число ваших читателей, кажется, должно вас убедить!

– Число читателей абсолютно ничего не значит. Конечно, мне приятно, что у моих книг есть определенная читательская аудитория. Я счастлив от мысли, что персонажи, рожденные моим мозгом, находят друзей вдали от меня и их жизнь вызывает интерес не только у меня самого, – короче, что я говорил не в пустыне. Но и самого горячего одобрения публики недостаточно, чтобы убедить писателя в высоких художественных достоинствах его произведения. Для автора хорошо расходящаяся книга вовсе

не патент на высшую степень совершенства. Возможно, его произведение не выдержит испытания временем или даже очень скоро канет в забвение, тогда как другие произведения, сначала не привлекшие внимания, будут представлять нашу эпоху в глазах последующих поколений. Бесспорно, нельзя также заключать, что большой тираж – непременное свидетельство низкого литературного качества. Толстой и Диккенс, Бальзак и Гюго, Достоевский и Золя – в истории литературы сколько угодно примеров великих романистов, при жизни познавших широкий читательский успех. Я хочу только сказать, что этот успех не является эстетическим критерием: он не может считаться ни приговором, ни признанием. Он не может ни в чем поколебать скромность писателя, ясно сознающего слабость своих возможностей. Успех обогащает творческую жизнь, но не составляет ее сущности. Я, со своей стороны, никогда не думаю о читателях, когда пишу книгу. Если бы я о них думал, я был бы, наверное, парализован в моем творческом порыве, как если бы кто-то читал мои наброски, стоя у меня за спиной. Моей работой движут требования не публики, а персонажей, которых я ношу в себе. Они толкаются в моей голове, требуют выхода, рвутся к жизни. Этот период – подготовительный – самый счастливый в процессе творчества. Детали возникают одна за другой, черты характеров обрисовываются, атмосфера насыщается; я придумываю дом, в котором поселю мой выдуманный мирок, обстановку дома, привычки и причуды его обитателей; я завязываю, развязываю и вновь завязываю нити интриги. На этой стадии работы все представляется достижимым. Каждый день полон энтузиазма. Я в восторге от моей истории. Я непрерывно думаю о ней – в кабинете, на прогулке, днем и ночью, всегда, повсюду… При этом, в обычное время я не отличаюсь особой наблюдательностью. Не замечаю окружающего. Живу в состоянии крайней рассеянности. Но, как только замысел новой книги зарождается в моей голове, мое поведение меняется. Я собираю свой мед со всего, что встречается на моем пути. Я схватываю, замечаю, накапливаю в памяти, я использую свою собственную жизнь, чтобы дать жизнь моим персонажам. На каком-то этапе деятельности профессия пожирает человека. Это принято пренебрежительно называть профессиональной деформацией. Но без профессиональной деформации ничто великое в мире не было бы создано. Приходится выбирать, кем быть: любителем или монстром. В монстра превращается не только чемпион по теннису, мускулатура правой руки которого гипертрофически развита по сравнению с левой, но и писатель, живущий напряженной творческой жизнью.

– Вы могли бы не писать?

– Нет. Для меня это было бы невозможно. Я продолжал бы писать, даже если бы перестал печататься. Пусть не для того, чтобы меня читали, но для того, по крайней мере, чтобы освободиться от моих видений. И однако если подготовительный период, о котором я говорил, для меня всегда новая радость, то исполнение – мука, боль от которой не смягчается с годами. Сражаешься с лексикой, с синтаксисом, борешься против повторений одних и тех же приемов. Переделываешь, вычеркиваешь, возвращаешь назад… Слова так бесцветны! Они предают мысль. Персонажи, изображенные словами, деформируются и несутся по воле волн. Найдется ли писатель, который, сравнивая то, что он создал в воображении, с тем, что он написал, мог бы предпочесть результат мечте? Правда, иногда, случается, какая-нибудь удачная фраза точно передает то, что я хотел сказать. Немедленно я начинаю бурно, по-детски радоваться. Я доволен днем, как будто эпитет, который я подобрал, чтобы подчеркнуть оттенок чувства или передать цвет неба, спасет всю книгу от посредственности. В процессе работы я не думаю о произведении в целом, я только отбираю детали. Трудно смотреть со стороны, когда сражение с текстом в самом разгаре.

– Почему вы ведете это сражение? Не с тайной ли надеждой сохраниться в памяти людей своими книгами?

– О нет! Когда я пишу, у меня не бывает этой смешной мысли о потомках. Зато я глубоко ощущаю движение времени. Когда я пишу, я предаюсь иллюзии, что останавливаю бег часов, материализую в какой-то степени проходящее мгновение, объективизирую мимолетное впечатление.

– Каковы ваши отношения с издателями?

– Начиная с моего дебюта в 1935 году я был связан со многими издателями и ни с одним из них у меня не возникало серьезных конфликтов. Некоторые же, как, например, Анри Фламмарион, стали моими близкими друзьями. Когда я познакомился с Анри Фламмарионом, он был еще новичком в издательстве и работал под руководством своего отца. Я наблюдал за ростом его профессионального умения и авторитета. Я восхищался его энтузиазмом проходчика, его энергией и жизнерадостностью. Он был удивительно отзывчив ко всему новому, будь то литература или кулинарное искусство, вино или политика, путешествия или живопись. Помню время, когда Анри и Пьерет Фламмарион принимали нас в Севре, в доме, который они через несколько лет покинули, переселившись в Париж. После завтрака я любил гулять с Анри в большом саду,

прилегавшем к дому. До изнеможения обсуждали мы наши общие планы. Как бы я ни сомневался в своей работе, я всегда расставался с ним, воспрянув духом. У него подрастало трое сыновей, в то время дети, занятые своими уроками, – ныне они работают вместе с отцом. После смерти отца в августе 1985 года издательство возглавил старший из сыновей Шарль-Анри.

Я воспринял смерть Анри Фламмариона после долгой болезни как несправедливость судьбы. Внезапно я оказался у края пропасти, куда канули сорок лет дружбы и сотрудничества. Уже зная, что обречен, Анри Фламмарион держался с достоинством перед своими посетителями, скрывая улыбкой свои недомогания, расспрашивая своих собеседников об их личных заботах. Деликатно, мужественно он хотел оставаться на ногах, до конца использовать свой шанс быть человеком среди людей. Утешало меня сознание, что его сыновья и наследники, воодушевленные его честностью и предприимчивостью, продолжают его дело. Загадочный цемент связывал их на редкость сплоченный клан, общаясь с которым я всегда выносил впечатление согласия и силы. Благодаря им в старинном доме на улице Расина жизнь продолжается. Их фамильное предприятие символизирует в моих глазах устойчивость традиций в современном мире, раз они поддерживаются молодым поколением.

Еще одна утрата глубоко опечалила меня: недавняя кончина моего друга юности Жана Давре. Страстно влюбленный в литературу, он обратился к деловой деятельности, где с блеском проявил себя, не отказываясь от литературного творчества. Все подписанные его именем страницы, будь то крупные романы «Шум жизни» и «Пустыня», или его «Театр без границ», или сборники мыслей «Отражения и размышления» и «Ожог», выдают беспокойный мятежный дух и ясный ум. Обширная культура сочеталась в нем с живой игрой воображения; он остался в моей памяти человеком горячим, требовательным, относившимся ко мне по-братски. Я регулярно показывал ему свои рукописи, и он высказывался о них категорично, но искренне. И сейчас еще, закончив страницу, я, бывает, спрашиваю себя: «А что сказал бы о ней Жан?»

– А ваши читатели? Есть ли у вас с ними какие-нибудь контакты?

– Как и мои собратья по перу, я получаю письма читателей, много писем. В большинстве случаев в них выражена трогательная симпатия к автору и его созданиям. Находятся, естественно, читатели и читательницы, которые узнают себя в том или ином вымышленном персонаже («Это в точности событие из моей жизни! Как вы могли так хорошо угадать мои чувства?»).

Есть и такие, которые огорчены печальным концом романа и подсказывают другой выход, более соответствующий их желаниям («Вы не должны были убивать его!»). И такие, которые предлагают свою собственную жизнь как тему для романа («Если бы я умел писать, я бы рассказал о пережитых мной испытаниях. Предлагаю их вам!»). Есть и такие, кому не нравится вольное обращение писателя с нормами буржуазной морали («Вы не имели права выбрать такой неприличный сюжет!»). Один читатель даже переслал мне мою книгу вместе с гневным письмом: возмущенный «скабрезными» сценами, он не пожелал держать ее в своей библиотеке. Бывает также, что какой-нибудь читатель упрекает меня за то, что я дал его имя моему герою. Но подобные совпадения всегда случайны. Практически невозможно выбрать имя, которое не существовало бы в жизни. Несколько лет назад я получил письмо, подписанное «Амели Мазалег» – в точности имя и фамилия героини цикла «Сев и жатва». Я считал, что сам придумал фамилию, и был уверен, что выбрал имя случайно, перебрав десятка два других, а оказалось, что Амели Мазалег существует в действительности и живет где-то в департаменте Коррез. Письмо моей корреспондентки тронуло меня своей непосредственностью. Совпадение ее имени с именем моей героини ничуть ее не обидело, она даже прислала мне небольшой подарок – картинку из засушенных цветов. Самым ценным для меня в ее подарке была подпись внизу справа: Амели Мазалег – яркое свидетельство соприкосновения вымысла и жизни. Эта картина и сейчас висит на стене моего кабинета. Хочу в связи с этим заметить, что моя читательская почта значительно возросла после издания моих книг в «карманной серии» – массовым тиражом. Невысокая цена сделала эти книги доступными для самого широкого круга читателей. А что ободряет писателя лучше, чем сознание, что его читают люди всех слоев общества и всех возрастов? Утрата контакта с молодежью – одна из самых серьезных опасностей для человека, который считает себя рассказчиком историй и творцом мифов.

– Ваши книги широко переводятся на другие языки. Удовлетворяют ли вас переводы?

– Мне трудно оценить качество переводов на чешский, японский или шведский языки. Но переводы, например, на английский я нахожу очень точными. Некоторые из моих романов и новелл переведены на русский язык и изданы в России. Читая их на моем родном языке, я испытываю необъяснимое удовлетворение, непостижимое единение с чем-то глубоко запрятанном во мне. Как будто, оставаясь целиком французским писателем, я открываю самого себя как писателя русского. Как

будто не переводчик, а я сам прямо по-русски написал эти фразы на бумаге. Бывает, иногда какая-нибудь неточность понимания или неумелость выражения выводят меня из себя. Так, мне помнится, в одной из новелл я рассказываю о мальчике, увлеченно читающем «Тентен».[35] Не зная, что или кто такое «Тентен» и склонный считать всю французскую молодежь изначально испорченной, переводчик написал, что мой лицеист, устроившись в кресле, читал «журнал с фотографиями полуголых актрис». Но, спешу добавить, такое бывает редко.

– У вас есть определенные часы работы?

– Как правило, да. Я работаю по утрам с десяти до часу, во второй половине дня до половины восьмого, никогда не работаю по вечерам. Но, несмотря на строгий распорядок дня, результаты очень неодинаковы. Сегодня я кружу по кабинету, набросав едва десяток приемлемых строк, а завтра перо мое летает по бумаге. Дисциплина необходима – она поддерживает душевное равновесие. Я должен неустанно возделывать мое поле, невзирая на трудности, которые препятствуют движению вперед. Если бы я писал только в порыве вдохновения, я не довел бы до конца ни одной книги. Работаю я всегда, стоя перед пюпитром. Я давно приобрел эту привычку и нахожу ее хорошей: я могу, когда хочу, отстраниться от рукописи и, даже не отодвигая стула, пройтись по комнате. Я чувствую себя немножко художником, который то удаляется от картины, то приближается к ней, чтобы лучше о ней судить. В отличие от многих моих собратьев по профессии, я никогда не пишу на машинке. Мне необходим прямой контакт руки с листом бумаги. Я набрасываю, вычеркиваю, рву страницу за страницей. Точного плана я не составляю. Или, вернее, я намечаю план для собственного спокойствия, прекрасно зная, что он изменится в ходе работы. Когда мои персонажи обретают плоть, они начинают сопротивляться моей воле и устремляются совсем не по тому пути, который я первоначально избрал для них, – тут уж я знаю, что роман перестал быть простой конструкцией ума и зажил самостоятельной жизнью. Это, видите ли, всегда добрый знак. Не стоит, на мой взгляд, доверять романам, которые катятся, как по рельсам. Любой писатель вам скажет, что герой, ускользающий из-под его власти, спасен для жизни. Более того, чем активнее он сопротивляется авторской воле, тем больше у него шансов выжить.

– Вы хорошо организованны в своей работе?

– Совсем неорганизован. Посмотрите, какой беспорядок в моем кабинете. Я завален книгами, каждый день прибывают новые, а я не могу заставить себя разобраться в них, разложить по местам. И вот их целая гора. Они повсюду. И на всех столах

разбросаны бумаги. Я ломаю себе голову, как выбраться из все возрастающего хаоса. Системы у меня нет. Я отказываюсь завести секретаря. И не позволяю Гит навести порядок в моих бумагах.

Раньше мои рукописи перепечатывала на машинке моя кузина Нина. И я хорошо помню эпизод, одно воспоминание о котором бросает меня в дрожь. Я только что закончил роман (это был «Сев и жатва»). Как обычно, Нина пришла за рукописью, чтобы дома перепечатать ее. Через несколько часов после ее ухода раздался звонок в дверь. Горничная, передав мне визитную карточку, сказала, что какой-то месье хочет срочно поговорить со мной. Имя на карточке было мне незнакомо, и я отказался принять его. Он настаивал, утверждая, что принес мне рукопись. Наверняка какой-нибудь начинающий писатель пришел за протекцией. Все же я решил принять его. В кабинет нерешительно вошел молодой человек скромного вида. К моему ужасу, он держал в руках папку – она принадлежала Нине! Сдавленным от волнения голосом я потребовал объяснений. Гость рассказал, что нашел папку в вагоне метро: она лежала на свободном месте. Он открыл ее и увидел там рукопись, на которой стояло мое имя, но не был указан адрес. Ему тотчас пришла в голову мысль позвонить какому-нибудь издателю и узнать мой адрес. Узнав его, он поспешил ко мне – вернуть находку. При мысли об опасности, которую удалось избежать, у меня буквально подкосились ноги: разумеется, у меня не было дубликата рукописи. Как отблагодарить моего спасителя? Он попросил книгу с автографом. Оставшись один, я с ужасом подумал, что бы произошло, если бы человек менее честный, менее образованный нашел эту забытую в метро папку? Вполне вероятно, что он, решив сохранить кожаную папку, выбросил бы пачку бумаг в мусорный ящик. Никогда у меня не хватило бы мужества написать мой роман заново!

Придя в себя, я позвонил Нине, которая, конечно, уже обнаружила пропажу. Ее не было дома, и мать сказала, что Нина вся в слезах, растерянная бегает по Парижу в надежде найти потерю. Только поздно вечером я смог с ней поговорить и успокоить ее. С тех пор я дрожу от страха каждый раз, когда доверяю рукопись машинистке. Писатель более аккуратный, ответственный никогда на стал бы жертвой подобного злоключения. Я же всего лишь ремесленник от пера.

– Вы называете себя ремесленником пера и, как ремесленник, вы удовлетворены своей судьбой?

– Как же мне не быть удовлетворенным, если мне выпало счастье – столь редкое! – зарабатывать себе на жизнь трудом, который так меня увлекает?

– Кроме работы над книгами, у вас есть еще какая-нибудь литературная деятельность? Ведете ли вы дневник?

– Я вел дневник в ранней юности, но давно оставил его. Я, впрочем, сожалею об этом до некоторой степени, ибо память у меня неважная и, если бы я регулярно записывал все события моей жизни, я мог бы, перелистывая старые записи, освежить свои воспоминания. Но, с другой стороны, я хорошо знаю, что, заведя дневник, я стал бы его рабом. Я позволил бы ему поработить себя. Я жил бы не ради моих многочисленных персонажей, а ради одного персонажа – самого себя.

– Выступаете ли вы с лекциями?

– Когда-то я прочел несколько лекций, но быстро от этого отказался. Красноречие – не сильная моя сторона. Меня сковывает самый вид публики. Я обретаю дар слова, только оставаясь один на один с листом бумаги.

– А статьи?

– Я пишу их крайне редко. Чтобы писать статьи, нужно свободно обращаться с отвлеченными понятиями. Мне же легче дается изображение конкретной жизни. В моих романах абстрактные идеи воплощаются в персонажах и обретают накал их характеров. Иными словами, не я, а мои персонажи задумываются о проблемах общего порядка. Я, например, не взялся бы проанализировать в серьезной статье будущее французской молодежи или роль современной женщины, разрывающейся между профессиональным честолюбием и материнским призванием, но в моей воле передать подобного рода заботы моим воображаемым созданиям. Я, впрочем, убежден, что это наилучший способ придать роману философскую окраску. Чем больше я пишу, тем больше претит мне вторжение в сферу романа рассудочности и теоретизирования. Если какое-нибудь наставление вытекает из моего рассказа, происходит это в какой-то степени помимо моей воли. Всякий иной способ создания художественного произведения превращает рассказ в систему доказательств, а персонажи – в ходячие аргументы. В этом вопросе я возвращаюсь к тому, что недавно вам говорил: основные свойства писателя – простодушие, чувствительность, открытость сердца. Писатель должен уметь все понять, все почувствовать, но не спешить все объяснять. Поддаваясь пылу отвлеченного исследования, он рискует опуститься до элементарной дидактики. Роман велик не ответами, которые он дает, а вопросами, которые ставит.

– Какой момент литературного творчества для вас самый мучительный?

– Момент, когда я даю разрешение печатать корректуру,

двадцать раз читаную-перечитаную, выправленную. Пакет отослан в типографию. Вы ничего больше не можете сделать для вашей книги. Хорошая или дурная, она больше не принадлежит вам. Отныне она совершает свой путь одна, отдельно от вас, со всеми своими ошибками, шероховатостями, которые вы не сумели исправить.

– А каково ваше отношение к критике?

– Я ответил вам на этот вопрос в начале нашей беседы. По натуре склонный сомневаться в себе, я более чувствителен к нападкам критики, чем к похвалам. Я сразу принимаю сторону тех, кто меня порицает, и не вижу в моей книге ничего, кроме недостатков, которые они обнаружили. Затем мало-помалу я забываю упреки критиков и свое разочарование и предполагаю написать произведение, достоинства которого затмят недостатки предыдущего. С этой точки зрения меня всегда удивляют дипломные работы, которые каждый год то здесь, то там, во Франции и за границей, студенты посвящают разным аспектам моих книг. Речь идет о работах столь серьезных, исчерпывающих, столь аргументированных, что, читая их, я будто разглядываю самого себя в увеличительное стекло. Под пером моих толкователей романы, которые я сочинил в творческом вдохновении с одной-единственной заботой – о жизни моих персонажей, принимают форму графиков, кривых, схем. Мои герои, старательно и безжалостно препарированные, обнаруживают побуждения, о которых я и не подозревал, а мой стиль, досконально изученный, принадлежит, мне кажется, кому-то другому. Правота, безусловно, на стороне авторов этих этюдов, а не на моей: я чересчур зарылся в свои книги, чтобы распознать их подлинный смысл. Но, если бы я обладал подобной трезвостью суждений по отношению к себе самому, своим замыслам и своим средствам изображения, разве мог бы я написать хоть одно слово?

– Мы говорили о вашей работе, поговорим теперь о вашем отдыхе. Вы проводите летние месяцы в вашем доме на реке Луарэ?

– Нет. У нас есть моторная яхта, и мы плаваем на ней вдали от многолюдных пляжей. Эту яхту я нарек «Ризеем» по названию углевоза, на котором мы бежали из Крыма во время революции. «Ризей» строился на судостроительной верфи во Вьяреджо в Италии, и мы не раз ездили туда смотреть, как продвигается работа. Когда я впервые попал в огромный ангар, где суетились бригады рабочих, меня охватила паника при виде огромного корпуса судна, остов которого вознесся высоко над землей. На проектах, которые мы рассматривали, прежде чем заказать его, размеры выглядели нормальными, теперь я словно стоял перед гигантской «Францией». По отвесной лестнице мы взобрались на

борт. Работы были в разгаре, и на корабле кишели плотники, механики, электрики. Я как будто присутствовал при рождении чудо-игрушки для взрослых. Вокруг нас пилили, строгали, прилаживали, прибивали. Воздух был пропитан запахом стружек и лака. Каюты походили на глубокие клетки, там были видны шпангоуты, пролегали трубы, тянулись провода. Гит с горящими глазами уже обдумывала их внутреннее убранство.

– *Были ли у вас какие-нибудь знания в области навигации?*

– Самые общие. Несколько раз в неделю мы плавали у берегов Сены на шлюпке, сидя, как в школе, на скамье вместе с другими столь же прилежными учениками, и познавали азы вождения в море прогулочной яхты. Мы осторожно обращались с морским компасом, исписывали цифрами и графиками блокноты. По вечерам, сидя друг против друга, мы повторяли уроки и, готовясь к экзамену, задавали друг другу каверзные вопросы. Честно говоря, я вечно ошибался в расчетах, когда нужно было определить свое местонахождение по карте, и пугался в бесчисленных морских сигналах. Все же наш доброжелательный экзаменатор вручил нам разрешение на кораблевождение, но из осторожности мы все-таки наняли профессионального моряка. Мы решили первое плавание совершить на Пасху из Неаполя: «Ризей» ждал нас там. Когда я по сходням поднялся на борт «Ризея», меня охватило разочарование. Почему он показался мне таким огромным в ангаре Вьяреджо? Теперь, когда предстояло на нем жить, я констатировал с раздражением, что едва могу повернуться в моей каюте, что туалетная рассчитана на карлика, а чтобы вытащить из глубины стенного шкафа одежду, нужно чуть ли не вывихнуть плечо. Гит и Минуш, напротив, чувствовали себя как дома в этом плавучем жилище, где все соответствовало их размерам. Они открыли новую форму существования и заражали своим энтузиазмом. Мало-помалу мое недовольство рассеялось, но все-таки мне понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к неизбежности этой тесноты. Еще и сейчас мне кажется, что мои локти вылезают за борта. Плавание в открытом море дает ни с чем не сравнимое чувство независимости, пространства, приключения! Все связи с повседневностью разорваны навсегда. Открыв какую-нибудь пустынную бухточку у берегов Сардинии или Балеарских островов, мы превращаемся в неутомимых исследователей. Мы по очереди стоим за штурвалом. Я с наслаждением купаюсь в прозрачной, отливающей бирюзой воде. Эдуар плещется рядом со мной. Дон бросается вниз с flying bridge,[36] выныривает, поднимается на него, снова прыгает и снова взбирается наверх. Минуш карабкается по склону скалы, собирает морских ежей, а

Гит, не желая плавать, обозревает окружающую красоту в бинокль. Да, это были счастливейшие каникулы! И поверите ли, на «Ризее» у меня ни разу не появилось желания писать. Как обычно, я погружаюсь в грезы, предаюсь мечтам о будущих романах, мысленно жонглирую своими персонажами.

Нередко друзья присоединяются к нам и разделяют с нами удовольствия новоиспеченных мореплавателей. Когда Клод Мориак впервые увидел наш кораблик, он бросил, прищурив глаза: «Легкое и живое перо!» Наш «Ризей» и правда был легким и подвижным!

Но увеселительное плавание таит в себе и немало разочарований: погода расстраивает половину самых скромных проектов. Так, однажды мы предвкушали, как насладимся днем посреди моря на широте Майорки в компании Мишель Моруа и ее мужа Робера Накэ, проводившими отпуск в испанской деревушке недалеко от нашего порта приписки. Встреча была назначена по телефону на послезавтра. Небо ослепляло голубизной, море гладкой маслянистой поверхностью, дул легкий бриз. Казалось, все в природе сговорилось сделать нашу встречу удачной. Увы! В назначенный день поднялся ветер, облака затянули горизонт, волны бились о берег. Когда Мишель Моруа и Робер Накэ приехали в порт, буря бушевала вовсю. Не могло быть и речи о том, чтобы выйти в море. Да и на набережной оставаться унизительно! Посовещавшись, мы решили встать на рейд в нескольких кабельтовых от места, где была пришвартована яхта, и там помокнуть. Но даже и там судно качало и болтало. Мы поспешно позавтракали, придерживая вырывавшиеся из рук тарелки, нас окатывали серо-зеленые волны, обдувал ураганный ветер; волнение усиливалось, и мы отступили перед стихией: подняли якорь и вернулись на место стоянки под защиту пирса.

А как забыть о бесконечных технических неполадках, которые происходили на борту? То и дело выходили из строя насос или генератор, инжекторы, фильтры, воздуходувные решетки и бог знает что еще. И при этом считалось, что неисправности на корабле в порядке вещей и мы находимся еще в привилегированном положении по сравнению с большей частью любителей мореплавания. Не будучи механиком, я, не понимая причин этих поломок, перекладывал на специалистов ремонт всей этой техники. К счастью, наш матрос был мастер на все руки, да и Гит умела работать руками. Я же не способен был забить гвоздя, не расплющив себе палец, и восхищался ее умением починить лампу, обнаружить короткое замыкание или подтянуть ослабевшие шнуры на шторах. Нередко я говорю себе, что без Гит мне бы не пришло в голову обзавестись кораблем. Она вносит в

мое размеренное существование фантазию, неожиданность. Она – двигатель моих дней, но двигатель, готовый взорваться. Миниатюрная, изящная, с тонкими чертами лица и задумчивым взглядом темных глаз, она, кажется, рождена сочинять жизнь, как я – сочинять романы. Ее начинания меня удивляют, мешают мне, нарушают мой покой, я протестую, потом позволяю себя убедить и вкушаю редкое наслаждение свернуть на некоторое время с моего привычного пути.

Как бы там ни было, исчерпав радости мореплавания, мы продали «Ризей»: слишком дорого обходились его содержание и ремонт. Вместо него мы купили небольшую квартиру на вершине горы д'Арбуа, возвышавшейся над Межевом. Радости моря сменились радостями снега. Гит, когда-то великолепная лыжница, вышла на лыжню осторожно: в молодости она, катаясь на лыжах, получила серьезную травму, повредив позвоночник. Все же она увлекла Эдуара на лыжную трассу. Затем, когда ученик ее превзошел, – а это был уже взрослый восемнадцатилетний парень, – она навсегда оставила занятия спортом. Эдуар как безумный носился по заснеженным склонам в компании своих сверстников. Его радость оправдывала приобретение нами жилища посреди этого величественного и безмятежного ландшафта. Что до меня, то после нескольких бесплодных попыток я запихал лыжи подальше в шкаф. Мне больше нравилось без устали бродить по занесенным снегом тропинкам. Шагая размеренным шагом, полной грудью вдыхая живительный горный воздух, окидывая взглядом молчаливую снежную пустыню, я не переставая думал о своих персонажах. Они сопровождают меня, разговаривают со мной, не переставая удивлять меня здесь так же, как и в долине Луарэ. Мое зимнее уединение населено их присутствием.

Вернувшись домой, я лихорадочно записываю мысли, которые пришли ко мне во время прогулки. Вторую половину дня я посвящаю писанию. Вечером, случается, я читаю Гит и Минуш то, что придумал за день. Минуш некоторое время назад рассталась с мужем. Развод прошел без шума. После развода к ней пришло второе дыхание. Она очень близка со своим сыном. Они образуют пару вечно ссорящуюся, ревнивую и веселую. Их взаимная привязанность согревает Гит и меня и поддерживает нас. Благодаря им мы постоянно общаемся с молодежью, знаем ее заботы и мечты.

Я забыл вам сказать, что все мы очень любим животных. Собаки и кошки всех видов и всех пород проходят одна за другой через наше существование. Сейчас у нас живут две кошки. Один – великолепный зверь по имени Ромео, тигриной окраски, с густой

шелковистой шерстью, королевским обликом и завораживающим взглядом, послужил моделью для кота – героя моего романа «Насмешка». Другой – обычный черно-белый кот, еще недавно трогательная дружба связывала его с нашей собакой Ирвином. Они с удовольствием обнюхивали друг друга и спали всегда вместе. Ирвин – небольшой брюссельский гриффон, лохматый, с бородкой веером и сплюснутым носом. Морда у него совсем человечья, и, когда он устремляет на меня взгляд больших круглых глаз, у меня возникает впечатление контакта с иным миром. Он нежен, быстр, игрив и забавен в выражении своих чувств. Он похож на мужика в миниатюре. Он обожает Гит и ни на шаг от нее не отходит, он состарился, ослеп и недавно умер от сердечного приступа. И Гит, и я еще не пришли в себя после его ухода. Привязываешься к живому существу и заранее готовишь себе горести в будущем. И при этом нельзя жить, не отдавая тепло своей привязанности людям ли, животным ли, которые вас окружают.

Само собой разумеется, животные всегда сопровождают нас в поездках. Они привыкли к машине, поезду, кораблю, самолету…

– В Париже вы много раз переезжали с места на место, пока не обосновались окончательно на левом берегу Сены. Чем привлек вас район Сен-Жермен-де-Пре?

– По-моему, это самый живой, беспокойный, самый причудливый уголок Парижа. На его улицах встречаешь людей всех социальных слоев и всех возрастов. Это территория благоразумных буржуа и выставляющих себя напоказ клошаров, рассеянных интеллектуалов и богатых торговцев, бунтующих студентов и смирных пенсионеров, территория старых камней и новых идей. Делаешь несколько шагов по тротуару и вливаешься в бурлящий поток разношерстных представителей человеческого рода. А сколько здесь магазинов с занятными вещицами, сколько галерей с дерзкими произведениями искусства! Нижний этаж каждого здания – витрина, зазывающая знаками то подлинного таланта, то его подделок, то и теми и другими вместе. Идешь купить газету и пересекаешь не квартал, а музей, но музей, кишащий людьми, где прошлое сливается с настоящим.

– И вы в двух шагах от Института. Вы регулярно ходите на заседания Французской академии?

– Регулярно не хожу. Но каждый раз, когда по четвергам я встречаюсь с моими коллегами, я впитываю дух учтивости, ума и достоинства. Прежде, при жизни Франсуа Мориака и Андре Моруа, я чувствовал себя гостем в этом кругу: оба моих крестных отца знали меня с самого начала моей литературной деятельности, и в их присутствии я не мог освободиться от

юношеской почтительности. Несмотря на мой зрелый возраст, перед ними я был по-прежнему робким мальчиком, искавшим когда-то их советов. Поразительно, до какой степени устойчива сущность нашей души, тогда как лицо непрерывно меняется. Только со смертью человека кончается его детство. Не стало Франсуа Мориака и Андре Моруа, и в Академии не осталось больше ни одного свидетеля моего вступления в литературную жизнь.

Тем не менее среди академиков у меня много друзей. Меня увлекают заседания, посвященные Словарю: люблю эту неторопливую прогулку по лесосекам словарного запаса. Сражаются с юношеским пылом из-за определения смысла какого-нибудь слова или выбора примера, изгоняют расплывчатые формулировки, устраивают травлю на расплодившиеся англицизмы. Полемика разгорается, со всех сторон раздается смех – все это так же увлекательно, как сражение снежками, и так же поучительно, как серьезные занятия в Коллеж де Франс. Все эти люди, столь различные по социальному происхождению, политическим взглядам, характеру, возрасту и вкусам, пришедшие сюда из разных уголков Франции, образуют замечательное единство, и его отличительная особенность – абсолютная духовная независимость.

Наш новый непременный секретарь, заменивший Жана Мистлера, – Морис Дрюон, бывший спутник на моем жизненном пути, избранный за свою полную достоинства скромность и энциклопедические познания. Я смотрю на него, такого официального, внушительного, исполненного спокойной уверенности, и с улыбкой соизмеряю путь, пройденный нами с тех пор, когда мы работали бок о бок в бурлящей и шумной редакции нашей «Кавалькады». Несмотря на обстановку зала – дорогой ковер, мраморные бюсты и портрет в полный рост кардинала Ришелье, который величественно наблюдает за нашими дебатами, – мне кажется, что Морис Дрюон не изменился. Он по-прежнему человек властный, прирожденный организатор. Его опыт бывшего министра помогает ему улаживать столкновения между Французской академией и Администрацией. Я восхищаюсь тем, что он чувствует себя как рыба в воде в холодных официальных кругах. Я, который чуть ли не лишается сознания при одной мысли появиться в публичном собрании, завидую той естественной свободе, с которой он произносит речи, участвует в коллоквиумах, присутствует на официальных обедах в сферах, где делается большая политика, общается как равный с равными с послами и главами государств. Это тем более поразительно, что среди близких и друзей он

проявляет простоту, великодушие, душевную свежесть, которые были присущи ему и в молодости. Его чувство дружбы сравнимо только с той ответственностью, с которой он относится к своим официальным обязанностям.

Каждый триместр Французская академия назначает директора из числа своих членов. Как-то и мне случилось исполнять эту страшную для меня обязанность. Вырванный из круга моих привычных соседей, я занял место на возвышении за высокой кафедрой между непременным секретарем, которым был тогда Морис Женевуа, и хранителем печати. Кончилось ленивое шушуканье вполголоса – настала моя очередь направлять общую дискуссию и наблюдать за собранием. По счастью, Морис Женевуа умело помогает мне в этом. Бдительный и улыбающийся, насмешливый и дипломатичный, он напоминает мне мальчика, загримированного под человека в годах, с накладными морщинами и усами из конского волоса. Его ирония и живость подстегивают дискуссию. Под его мягким руководством работа над Словарем успешно продвигается вперед. Время от времени вокруг значения какого-нибудь слова вспыхивает ученый спор. Принять или отвергнуть его современный общедоступный смысл? Чаще всего голосование в Академии закрепляет традиционное употребление слова. Все мы боремся за чистый и одновременно живой французский язык.

Единственным значительным событием, отметившим мое директорство, был визит в Париж делегации Российской Академии наук. Институт Франции дал обед в честь академиков из России, и я как директор присутствовал на этой вечерней встрече. Переводчик, приглашенный французской стороной, плохо знал русский язык, и мои коллеги попросили меня тут же без подготовки заменить его. Я сделал это в меру моих сил, и наши гости были, по-видимому, удовлетворены моим посредничеством. Переводя на французский язык речь одного русского академика, я поймал себя на мысли, что если бы мои родители не бежали из России в 1920 году, я бы жил там, и если бы стал писателем, то сегодня, возможно, находился бы по другую сторону стола.

На заседаниях Французской академии я познал удовольствие от приятного общества, но также и печаль от неотвратимо наступающей старости. С волнением подмечаю я каждый раз следы увядания на лице кого-нибудь из друзей. Белеют волосы, затуманивается взгляд, вызывает одышку лестница, по которой вчера легко взбегал. Уходят одни, приходят другие. Одно поколение сменяет другое. Но мне кажется, что дорогие тени бродят среди живых. Марсель Паньоль пока здесь. Он

рассказывает мне анекдот своим теплым с певучим акцентом голосом или склоняется над записной книжкой и вносит в нее какую-то невообразимую формулу. А вот улыбающийся Марсель Ажар в толстых круглых очках, с развязавшимся галстуком. И Морис Женевуа, бодрый и насмешливый, страстный певец Солони и страданий *пуалю*.[37] И Жозеф Кессель: в разгар дискуссии об этимологии какого-нибудь французского слова он шепчет мне на ухо по-русски что-то смешное и страдальчески морщится – на заседаниях запрещено курить. И Пьер Гаксот, переполненный скандальными историями, выуженными из хроник былых времен. И Андре Моруа, элегантный, любезный, стремительный, само воплощение ума. И Франсуа Мориак, трагичный и саркастичный, словно сошедший с полотна Эль Греко. И Анри де Монтерлан с его римским профилем и рассеянным взглядом. И Жорж Дюамель, полный, мягкий, мечтательный. И сдержанный Жюль Ромен с небесно-голубыми глазами. И Жан-Жак Готье с серебристыми, коротко подстриженными волосами, иронической миной на лице и дружескими записочками, написанными красивым, аккуратным почерком. И герцог де Кастри, воплощенное достоинство, учтивость и чувство юмора. И столько других!.. В Ежегоднике Института, куда французские академики занесены в порядке избрания, мое имя с каждым годом поднимается на несколько строчек выше и приближается к самому старшему из нас. Словно в пьесе, где ускоренный бег времени иносказательно изображен режиссером авангардистского театра. Все проходит очень быстро. Недолговечность земного счастья бросается в глаза. И еще – суетность славы. Вернувшись домой после заседания в Академии, я всегда с трудом вновь принимаюсь за работу. Нежность и печаль овладевают мной при мысли о всех этих выдающихся умах: сегодня они еще живы, а завтра превратятся лишь в драгоценное воспоминание. В кулуарах уже говорили о ближайших выборах, с пылом обсуждали достоинства новых кандидатов. Никогда я не чувствовал так остро непрочность моего положения. Я всего лишь жилец в своей собственной жизни. Кто заменит меня в моем кресле?

– *Вы часто думаете о смерти?*

– Очень часто.

– *Со страхом?*

– Я страшусь тяжелой болезни, тех страданий, которые обычно сопровождают переход из одного мира в другой, и я тревожусь за близких, которых покину. Но сам факт неизбежности смерти не особенно волнует меня. В мыслях о неотвратимости смерти я скорее черпаю утешение. Объясню:

когда я сравниваю неисчислимые толпы тех, кто ушел из этого мира со дня его основания, и горсточку тех, кто сегодня населяет нашу планету, я вынужден заключить, что смерть – общее правило, а жизнь – исключение, что наше истинное предназначение не жить на земле, а пребывать в ином мире и что поэтому не страшно в один прекрасный день присоединиться к большинству. Вечное возвращение – в порядке вещей.

– Верите ли вы в Бога?

– Да, но я не исповедую никакой религии. Мне кажется, что, пытаясь приблизить к себе Бога обычными человеческими средствами, объяснить Бога, рассказать бога, верующие низводят его до своих собственных ничтожных размеров. При этом я сожалею, что не принадлежу к тем, кто в любых обстоятельствах находит поддержку в религии. По-моему, умом Бога не постигнуть: его присутствие я ощущаю физически, вопреки всем доводам рассудка. Если в нашей душе живет потребность в высшей силе, именуемой Богом, значит, эта сила существует.

– Потребность в известном смысле порождает объект для ее удовлетворения. Это своего рода призыв о помощи и как бы инверсия патетического возгласа Клары Мальро: «Господи, ты есть вовсе не потому, что я в тебе нуждаюсь!»

– Да, да, моя позиция прямо противоположна этой. Как невозможно изобрести цвет, не входящий в состав радужного спектра, так невозможно изобрести Бога, если бы он уже не присутствовал в нашей душе. Присутствие бога в своей душе я ощущаю порывами, неожиданно, с долгими интервалами. Это похоже на партию в теннис. Моментами мяч неоспоримо предназначен мне, мой черед принять его, мой черед играть. В другие моменты я чувствую, что мяч надо пропустить – у задней линии его непременно возьмет мой партнер.

– И этот партнер – Бог?

– Сравнение несколько дерзкое. Скажем проще: то я должен защищать себя сам, то я чувствую, что меня выручит кто-то, кто сильнее меня.

– В исторических романах вы поднимаете – на историческом фоне – разные политические вопросы. Интересуетесь ли вы современной политикой?

– Можно ли не интересоваться ею? В наше время отвернуться от политики – значит отрезать себя от жизни всего мира. Однако я не занимаюсь политической деятельностью. Политик – человек действия, я же – мечтатель. По своему душевному складу я не могу быть приверженцем какой-либо одной определенной позиции. Мой характер побуждает меня во всем видеть «за» и «против».

– В общем, вы скептик!

– Скажем: либерал.

– Что же более всего поразило вас как «либерала» в течение вашей жизни?

– Нищета мира. Она огромна. Она вызывает содрогание. Конечно, трудно сделать счастливыми всех обитателей нашей планеты. Конечно, неравенство вписано в законы самой природы. Но я все-таки верю и надеюсь: в будущем люди сумеют – милосердием, пониманием – изменить подобное положение вещей. Неустанно повторяю я это слово – понимание. Решительно, потребность понимать других – одна из основных черт моего характера. Наверное, это влечение к загадкам чужой души и побудило меня, неосознанно, писать романы. Темы для романов я открываю повсюду. Если во время прогулки по городу я случайно замечу за витриной чету аптекарей, спорящих за своим прилавком, мной немедленно овладевает желание ввязаться в их спор, взвалить на себя бремя их забот, влезть в их шкуру. Целые часы я провожу в вагонах наземной линии метро, нескромно заглядывая в окна домов по обеим сторонам пути, на лету ловя обрывки человеческой жизни, разгадывая тайны, воображая драмы… Сказать по правде, я хотел бы обладать даром поспевать всюду, чтобы пережить судьбы многих людей одновременно.

– Вы возвращались в Россию?

– Нет. Вы затронули вопрос, который меня очень волнует. Вы понимаете, что эта исполинская страна и страстная душа ее народа неизменно, физически и духовно, притягивают и влекут меня. Любой отклик оттуда интересует меня и глубоко волнует. С детства восторгался я русской литературой. И все же из года в год я отвергаю мысль о поездке в Россию – так она для меня значительна. Смутный страх удерживает меня. Дело в том, что в самом начале жизни по рассказам родителей, по детским воспоминаниям, по произведениям русской литературы, наконец, из своих мечтаний я создал в воображении мой собственный образ России. Именно эта иллюзорная Россия и питала мои книги. Она настолько жива во мне, что, закрыв глаза, я как бы постигаю ее истинный облик. И я боюсь, что, если приеду в Россию, контакт с ее реальностью – с русскими лицами, голосами, с русскими пейзажами – разрушит мою внутреннюю, мою собственную Россию, и тогда я окажусь перед пустотой. Вы скажете, что знакомство с настоящей, современной Россией тотчас заполнит эту пустоту. Но я в это не верю. Такое замещение могло бы произойти, если бы я обосновался в России и долго, терпеливо впитывал атмосферу страны. Но для меня невозможно расстаться с Францией и Россия для меня не та страна, куда

отправляются с коротким визитом. И беглый взгляд туриста не обогатит в душе романиста почву, насыщенную детскими воспоминаниями. Я вернулся бы во Францию, утратив мою внутреннюю Россию и заменив ее несколькими банальными впечатлениями недолгой поездки. Вот что меня останавливает.

Впрочем, в Москву недавно ездил мой брат. Он видел наш родной дом. В нем находится теперь административное учреждение. Когда брат назвал себя и рассказал свою историю, ему любезно разрешили осмотреть дом. Ничто в нем не изменилось: ни расположение комнат, ни рисунок паркета, ни свисающие с потолков люстры, ни перила лестниц… Быть может, в один прекрасный день и я отправлюсь взглянуть на наш старый дом, где я прожил так мало. Пока же я предпочитаю лишь мечтать об этом…

– Владеете ли вы рецептом счастья?

– Чтобы быть счастливым, в каждое мгновение жизни нужно помнить об очаровании, которое мы в нем найдем, когда оно станет воспоминанием.

– И вы соблюдаете это жизненное правило?

– Я хотел бы соблюдать его, но мой неспокойный характер мне в этом препятствует. Слишком часто страх перед будущим губит радость настоящего. Это, наверное, последствие трудностей, пережитых моей семьей при врастании в чужую страну. Что до меня, то я убежден – ничто не приобретается навсегда. Я иду по колеблющейся земле. Самые прочные по видимости положения – всего лишь конструкции из дыма. Несмотря на мою долгую карьеру писателя, каждый раз, когда наступает момент передать законченную рукопись издателю, я испытываю тот же страх, что и в молодости. Моя следующая книга будет книгой дебютанта.

* * *

Я перечитал эту книгу, перед тем как переиздать ее, и изумился: сколько я пережил, передумал, сколько написал за время, прошедшее после последнего издания в 1987 году. Работа, как и прежде, пожирает дни моей жизни.

Сначала о романах.

Вернувшись к моей маленькой героине Виу в романе «До завтра, Сильви», я написал «Третье счастье», завершив трилогию. В этом романе моя героиня, склонная к крайностям и наделенная обостренной чувствительностью, восстает против матери, которую боготворила в детстве.

Следующий роман – совершенно иной как по тону, так и по теме, его вдохновившей, – «Вся моя жизнь будет ложью». Здесь я воссоздал мрачную обстановку в оккупированном немцами Париже и метания и страхи подростка, готового на все – на ложь, даже на предательство, лишь бы не расставаться с сестрой, в которую страстно влюблен.

Затем последовала «Французская гувернантка» – простая история 24-летней Женевьевы, приехавшей в Петербург накануне Октябрьской революции 1917 года в качестве воспитательницы детей богатой буржуазной четы. Молодая француженка, мужественная, скромная и мечтательная, находит здесь две великие любви своей жизни: к молодому интеллектуалу, захваченному передовыми идеями, и к России, с которой чувствует душевное родство, несмотря на кровавые конвульсии, вызванные большевистским восстанием. Никогда она не сможет освободиться от волшебных чар туманного Севера, где ей довелось пережить свое незатейливое личное приключение и стать свидетельницей гигантских потрясений в охваченной анархией стране.

В романе «Жена Давида», опубликованном в следующем году, я обратился к новой теме. На этот раз я хотел показать на примере личности художника Жака Луи Давида губительные разрушения, которые производят политические страсти в душе артиста, тогда как цель его жизни – творчество. Рассказчиком об этом сумбурном существовании я выбрал его жену, ничем не примечательную, но здравомыслящую, целиком посвятившую себя мужу. Она восхищается им и страдает, наблюдая за проявлениями его безмерной гордыни и бесконечной наивности в суждениях о происходящих событиях и окружающих его людях. Несмотря на все пороки Давида, одного из главных актеров той

исторической драмы, она следует за ним сквозь бури агонизирующей монархии, Революции, Империи, Ста дней, Реставрации, тщетно стараясь уберечь его от опасностей, навстречу которым он очертя голову устремляется. Эта исповедь, написанная от первого лица женой Давида, – слово в защиту всех спутниц выдающихся людей, которые, оставаясь в тени, помогают великому человеку двигаться вперед, не подвергая риску свою жизнь, и оберегают его от мелких забот повседневной жизни.

В «Алёше» я изменил эпоху, обстановку и стиль, поскольку в этом романе меня интересовали чувства мальчика, сына русских эмигрантов, который разрывается между любовью к родителям и страстной увлеченностью культурой, языком Франции и своими новыми французскими друзьями. Действие происходит в 1924 году, отец и мать Алёши еще слишком связаны с Россией, откуда их изгнала большевисткая революция. Все их мысли устремлены к утраченной родине. Они живут навязчивой мечтой о родной земле, тогда как Алёша живет настоящим, очарованный пригревшей его Францией. Его желание прижиться во Франции так велико, что он раздражается, слушая родителей, бесконечно пережевывающих свои воспоминания о Москве. Само его имя, звучащее по-русски, внушает ему ужас. Он признается, что предпочел бы зваться Дюпоном. Потребовалась вся настойчивость его лучшего друга Тьери Гослена, чтобы Алёша, сам того не замечая, перестал отрекаться от родных корней. Я хотел изучить в этой книге те неведомые дороги, которыми идея родины доходит до сердца ребенка. Разумеется, сотни деталей в этом рассказе – мои собственные воспоминания ребенка-эмигранта. Как и Алёша, я прошел через это амфибиеобразное состояние полурусского, полуфранцуза, пережил тот же головокружительный разрыв между жизнью семьи и жизнью лицея, то же увлечение литературой, которую там преподавали…

В противоположность моему персонажу, я никогда не отрекался от своей родины. Как раз наоборот, как я уже говорил выше, рассказы моих родителей о России были для меня неиссякаемым источником восхищения. Нередко я сам вызывал их на признания. Вечер за вечером я выжимал из них воспоминания, как выжимают лимон. Приписав такую же тягу к родной стране моему герою, я бы лишился удовольствия постепенно развить в его душе переход от ожесточенного отрицания России к своего рода двойной любви: она объединила страну, где он родился, и страну, которая его приютила. Так что, напоминая меня некоторыми чертами, Алёша вовсе не мой двойник.

Не автобиографичен и мой последний роман «Юрий», хотя я

включил в него некоторые эпизоды нашего бегства из России. В истории моих юных героев, Юрия и Сони, меня покорила возможность увидеть глазами детей катаклизм, подобный русской революции и бегству их семьи из России. Для них главное не то, что происходит в мире взрослых, а то, что втайне зреет в их сердцах. Для них драма, разыгрываемая взрослыми, – непонятная и в чем-то забавная фантасмагория, они воспринимают ее как некую интермедию, вторгшуюся в однообразное течение дней.

По своему обыкновению, я и в эти годы чередовал романы и биографии. Оставив на время Россию, я посвятил свой труд тому, чьи книги, когда я только начинал, были для меня Библией писателя, – Гюставу Флоберу. Произведения этого мученика пера, сосредоточившего всю свою жизненную энергию на поисках точного слова, были для меня блестящим образцом прозы, где стиль одерживает верх над непосредственным восприятием. Он сдерживал в себе желание жить, чтобы лучше писать. Он оберегал свое уединение, чтобы успешнее населить воображение выдуманными персонажами. В пустыне одиночества своих дней в Круассе он создал гигантское творение.

Написав портрет Флобера, я счел своим долгом посвятить отдельный труд его почтительному ученику, защитнику его памяти, его духовному сыну – Ги де Мопассану. Этот неутомимый рассказчик развлекал меня своим бахвальством, успехами у женщин, склонностью к разгулу, презрением к условностям и пристрастием к мореплаванию. Он ослеплял меня своим стилем: циничным и одновременно нежным. Он глубоко трогал меня тем упорством, с каким на пределе сил продолжал писать, когда неизлечимая болезнь неумолимо за волосы тащила его в психиатрическую лечебницу – и к могиле.

Я также недавно опубликовал книгу о Золя. В нем меня особенно привлекало сочетание необыкновенной силы характера и фантастического неистовства в творчестве. Читая его романы, попадаешь в мир, деформированный взглядом наблюдателя, который огрубляет действия, раздувает страсти, сгущает запахи. Изучая его жизнь, встречаешь двойственный персонаж: почтенный отец, ищущий повода ввязаться в схватку, буржуа, ставящий идеалы выше собственной безопасности, человек убежденный, честный, мужественный, мечтающий только о том, чтобы писать, но никогда не уклоняющийся от борьбы, если его убеждения требуют принять в ней участие. Кто же настоящий Золя? Автор «Западни» или автор «Я обвиняю!»? Но, по сути, разве весь цикл «Ругон-Макары» с его острым обличением нищеты и пороков человечества не заслуживает заголовка – «Я обвиняю!»?

В Россию я вернулся вместе с Александром II, просвещенным государем, который отважился в скованной традициями, остановившейся в развитии стране уничтожить крепостное право, отменить телесные наказания, реорганизовать административное управление, систему образования, судопроизводство. Чтобы провести в жизнь эти реформы, ему пришлось бороться и против фанатиков-революционеров, мстивших ему за то, что он их опередил, и против помещиков, цеплявшихся за свои привилегии. Террористы преследовали его, но несколько их покушений не достигли цели, а он колебался между желанием полностью освободить русский народ и страхом подорвать вековые устои империи, завещанной ему предками. В России XIX века, где бурлили интриги и заговоры, он, на мой взгляд, превратился в жертву своих великодушных намерений, стремлений к реформам и постоянного балансирования между соблазнами либерализма и ужасом перед анархией. Бомба, оборвавшая его жизнь, предвещала еще более кровавые и бессмысленные катастрофы.

Агонию гибнущей монархии я изучал в жизнеописании Николая II. Человек средних способностей, с податливым характером, уважавший прошлое, с подозрением относившийся к нововведениям, преданный своему народу, преданный муж, хороший отец, он более всего любил жизнь в кругу семьи и был целиком под влиянием властной супруги, неуравновешенной и мистически настроенной.

Я прослеживал с симпатией, но и с печалью его жизненный путь сквозь череду трагических потрясений, которыми изобиловало его царствование: преступления, войны, демонстрации, жестоко подавляемые стачки и забастовки… С самого начала работы над книгой я наблюдал, как скапливались над его головой зловещие предзнаменования. И он, точно автомат, двигался навстречу кровавому концу, который был ему уготован.

После разгрома в войне с Японией из-за абсурдного конфликта, после роковой ошибки – расстрела в воскресенье, названное кровавым, – после появления в кругу царской семьи и возвышения «ясновидца» Распутина царь до такой степени себя дискредитировал, что его самые горячие приверженцы втихомолку осуждали его. Война 1914 года с ее горами трупов подготовила революцию. Пропаганда Ленина, вернувшегося в Россию при посредничестве Германии, окончательно деморализовала измотанную войной армию. Отречение царя, заключение в Екатеринбурге, расстрел царской семьи большевиками – последние этапы его крестного пути, ужасы которого сплетались с сознанием собственного бессилия.

Чем дальше я продвигался в моей работе, тем яснее понимал: если бы не смертоносная война, которую Николай II, чтобы сдержать слово, вел в союзе с Францией, революции, может быть, удалось бы избежать. Россия стала бы конституционной монархией по английскому образцу и превратилась бы в самую процветающую и могущественную державу мира.

При этой мысли сострадание, которое я питал к Николаю II, окрашивалось горечью. Из русских государей, память о которых я возрождал, Николай II ближе всех ко мне по времени. Я родился в его царствование. Я бежал из России с родителями вскоре после убийства в Екатеринбурге. В годы моего детства отец и мать часто рассказывали мне о «последнем Романове», об его ошибках, недостатках, о его падении, страданиях в Сибири, которые он переносил смиренно и с достоинством. Короче, я жил вместе с Николаем II, еще не написав о нем ни строчки. Для меня он был в одном лице царь проклятый и царь мученик. Мой долг, полагал я, завершить его биографией мою галерею портретов русских монархов, хотя и сомневался, что кого-нибудь заинтересует этот явившийся из былых времен призрак.

И вот в августе 1991 года, когда я правил корректуру книги о жизни Николая II, эхо событий в России докатилось до моего сельского уединения на реке Луарэ. Я перечитывал с пером в руке свое повествование о трагических часах революции 1917 года, а газеты, радио, телевидение кричали о другой революции. Через семьдесят четыре года драма повторялась, повернувшись оборотной стороной. На этот раз не большевики боролись с зарождавшейся после отречения царя демократией, а новые демократы восстали против стоявшей у власти партии коммунистов. И ярость толпы возбуждали эмблемы не императорской, а советской власти – все эти символы сторонников тирании, официальной лжи и культа личности. И с фасадов срывали не изображения двуглавого орла, а красные флаги с изображением серпа и молота. Самые отчаянные из манифестантов даже подумывали о том, чтобы выбросить тело Ленина из мавзолея. И под стенами Кремля словно чудом вознеслись портреты облитого грязью, презираемого, на три четверти века забытого последнего русского царя – императора Николая II. Невольно думалось, что публикация моей книги совпала с воскресением того, кто ее вдохновлял.

Одна за другой, точно на сценических подмостках, следовали неожиданные развязки: отставка Горбачева, генерального секретаря коммунистической партии, роспуск этой партии, еще недавно столь могущественной, провозглашение независимости некоторых республик, головокружительное восхождение Ельцина,

Ленинград, вновь ставший Петербургом…

Эта лавина невероятных событий обострила мои мысли об отце. Что бы он испытывал, доживи он до этого дня? Какой реванш для него и для всех белых эмигрантов за их долгую и жалкую ссылку! Отцу не посчастливилось увидеть обновленную Россию. Но даже я, попавший во Францию ребенком, был взволнован до глубины души, видя ликующую молодежь, национальные знамена, развевающиеся над головами демонстрантов, изображения Николая II, которыми размахивали, воздавая почести прошлому, иконы – знак роста самосознания народа, считавшегося порабощенным и непробудно спящим.

В этом политическом и социальном перевороте более всего меня удивляет то, что нация, со школьной скамьи воспитанная на большевистском катехизисе и не знавшая иной заповеди, кроме как быть удовлетворенной своим правительством, нашла в себе ресурсы, я бы даже сказал – изобретательность, чтобы взбунтоваться. Откуда эти бывшие школьники, учившиеся писать, выводя в тетрадках имя Ленина, черпали отвагу, чтобы низвергнуть своего «святого» отца? Какие события, какие тайком прочитанные книги, какие ведущиеся шепотом разговоры заставили прозреть этих женщин, этих мужчин, которых за 73 года пропаганда превратила в слепых и глухих, не ведающих о происходящих в мире переменах.

Когда я писал эти строки, я знал, что игра еще не выиграна. Даже если Россия выберет путь западной демократии, вовсе нет уверенности в том, что она на нем преуспеет, прежде чем пройдут годы поисков, попыток, отступлений, разочарований. Можно даже опасаться, как бы надежды на лучшую жизнь при либеральном режиме не были обмануты медлительностью преобразований, неизбежными перебоями в снабжении, резкими скачками экономики, ведущими к росту безработицы, злой волей части функционеров, тоскующих по старому порядку… Еще неизвестно, чем кончится этот спонтанный порыв к буржуазному раю. Сами главные авторы русской драмы не могут предсказать, на что будет походить завтрашняя Россия, перенесшая шок обновления. Пока что речь идет о стране изголодавшейся, растерянной, разваливающейся, вынужденной выпрашивать помощь у капиталистических государств, которые еще недавно сама же обличала. Сумеет ли Россия оправиться, подняться на ноги прежде, чем хаос окончательно захлестнет ее огромную территорию, не имеющую твердых границ.

Теперь, когда в России все пришло в движение, падают головы, верхи держатся за свои привилегии, дикий национализм пробуждается во всех уголках гигантской империи, игральные

карты перемешаны и пересдаются разного рода предприятиям, комитетам, я все чаще размышляю об этом 1917 годе: он должен был принести равенство, справедливость, процветание родине Николая II, а сегодня вместо этого порождает грандиозный протест против тех, кто свалил царя.

И в звуках путаных и сбивчивых официальных речей мне слышится издевательский хохот Истории.

Вернусь к моему отцу. Будь он жив и будь у него возможность вернуться на родину и там окончить свои дни, как бы он поступил? Решился ли бы он вновь увидеть страну своих грез? А я? Вопрос обо мне не стоит: земля, где я родился, это не земля, где я живу. Я прожил восемь лет в России и 73 года во Франции. Соотношение слишком неравное. Моя французская одежда так плотно срослась с моим телом, что, попытайся я ее снять, я содрал бы с себя кожу.

Список иллюстраций

Лидия Васильевна Тарасова (урожд. Абессоломова, 1883–1963), мать Анри Труайя

Аслан Александрович Тарасов (1874–1967), отец Анри Труайя

Ольга, Александр и Лев Тарасовы с гувернанткой швейцаркой

Лев Тарасов в возрасте пяти лет

Лев Тарасов в возрасте восьми лет

№ 752

Заграничный паспортъ

Подпись владѣльца

Предъявительница сего Лидія Васильевна Тарасова 39 л. съ дѣтьми: Ольгой 17 л., Алексѣемъ 12 л. и Левушкой 7 л. отправляется заграницу

во свидѣтельство сего и для свободнаго проѣзда данъ паспортъ Черноморскимъ Губернаторомъ съ приложеніемъ печати въ гор. Новороссійскѣ.

Взыскано паспортныхъ сборовъ

14 января 1920 г.

За Черномор. Губернатора Вице-Губернаторъ

Начальникъ Отдѣленія общаго дѣлъ

Дѣлопроизводитель

Заграничный паспорт, выданный 14 января 1920 года в Новороссийске семье Тарасовых для выезда из России с фотографиями Л.В. Тарасовой и трех ее детей

Александр и Лев Тарасовы в Париже

Анри Труайя в военной форме в 1939 году в начале войны

Борис Шаляпин. Портрет Анри Труайя. 1947 г. Воспроизводится впервые

Анри Труайя перед приемом во Французскую академию со своими «крестными» Андре Моруа и Франсуа Мориаком 21 мая 1959 г.

Анри Труайя на приеме во Французскую академию с Морисом Дрюоном и Жозефом Кесселем

Анри Труайя, произносящий вступительную речь

Анри Труайя показывает шпагу академика матери и отцу

Анри Труайя и его жена Маргерит на приеме в честь вновь избранных академиков 25 февраля 1960 г.

Анри Труайя, играющий со своей собакой на мосту Искусств напротив здания Академии

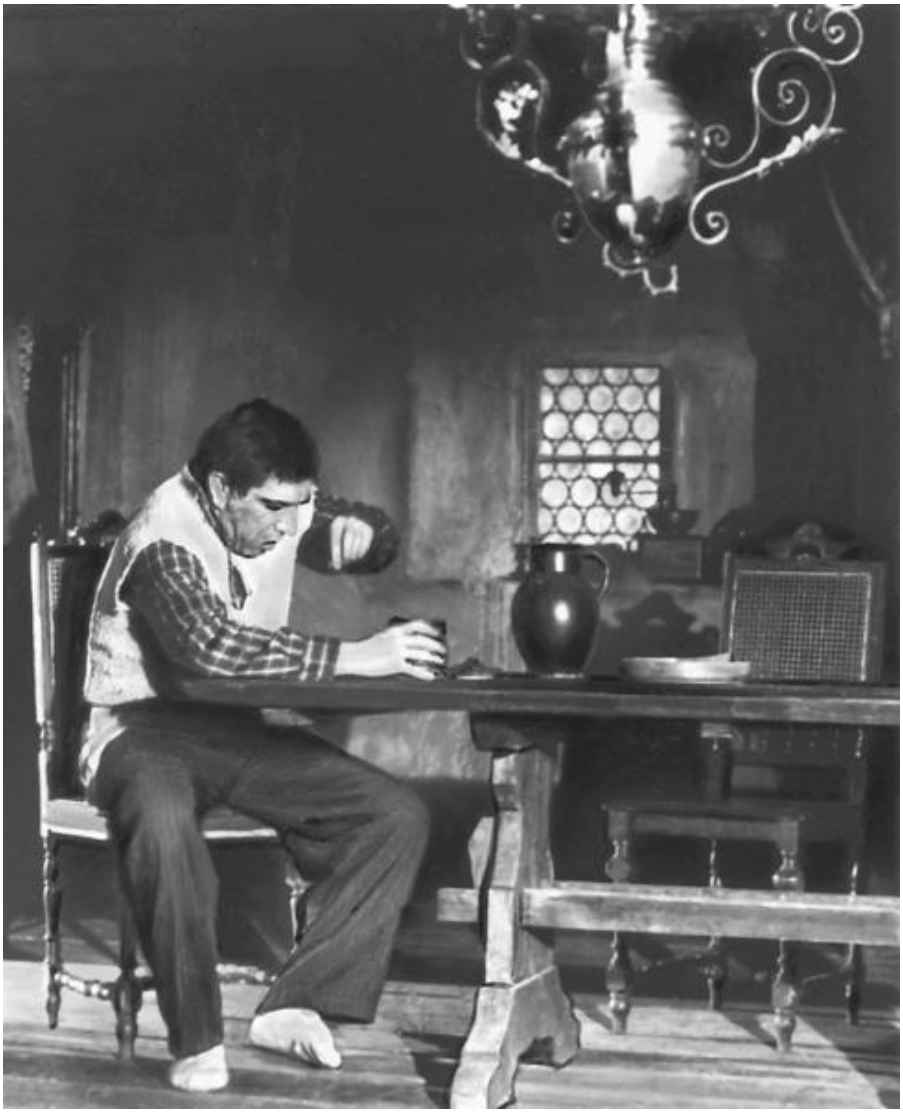
Анри Труайя перед витриной восковых фигур в музее Гревен, где за стеклом его изображение между Ингрид Бергман и Жоржем Сименоном

Анри Труайя и его жена Маргерит с писательницей Колетт в Монако после вручения Анри Труайя главной литературной премии принца Монако за роман «Снег в трауре». 1952 г.

Анри Труайя на съемках фильма по роману «Снег в трауре» с исполнителем главной роли Спенсером Трейси

Анри Труайя в своей библиотеке. 1970 г.

Кадры из французско-австрийского телесериала по пенталогии «Свет праведных»



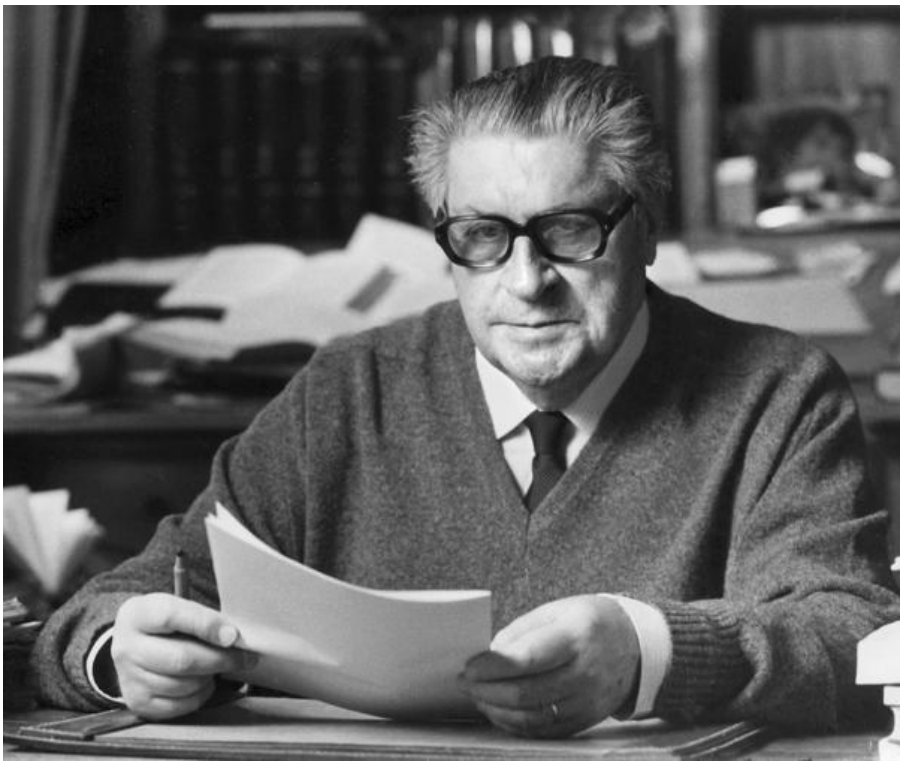
Кадры из телефильма по роману «Снег в трауре», снятого в 1979 г. на студии Арменфильм режиссером Ю.Е. Ерзинкяном. В главных ролях Армен Джигарханян и Майя Булгакова.

Анри Труайя

Анри Труайя с внуком Эдуаром

Анри Труайя в рабочем кабинете. Слева на стене портрет Л.Н. Толстого работы Яна Стыка

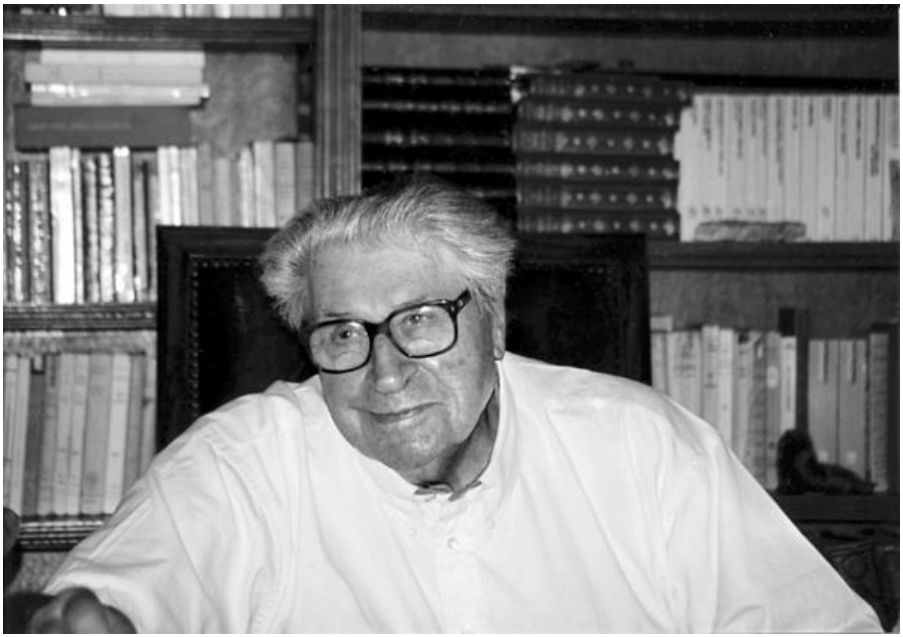
Анри и Маргерит Труайя в рабочем кабинете писателя



Анри Труайя за работой

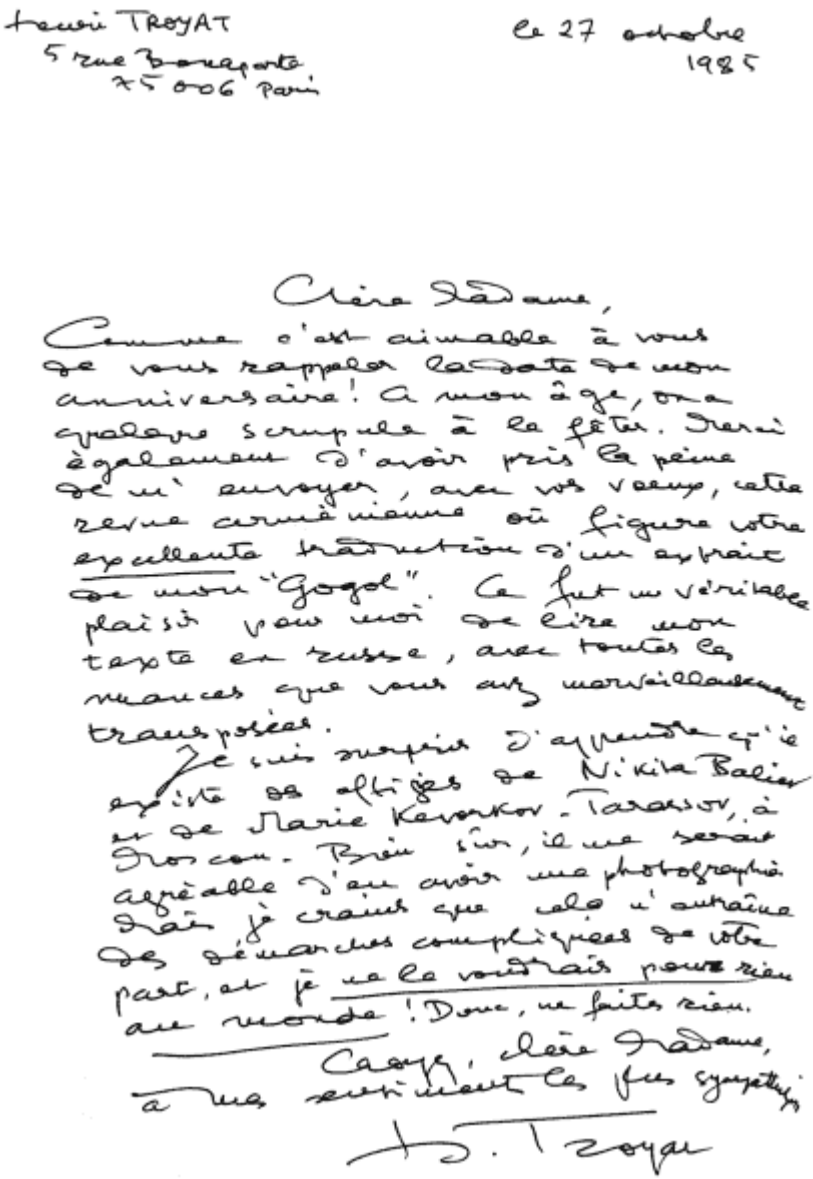
Анри Труайя с одной из своих книг

Анри Труайя в саду своего дома на реке Луарэ, где посажены привезенные из России березки.



Анри Труайя в своем кабинете. Фото, присланное переводчице 3 января 2005 г.

Анри Труайя за работой. Фото, присланное переводчице 3 января 2005 г.



Henri TROYAT
5 rue Bonaparte
75006 Paris

Le 27 octobre
1985

Chère Madame,

Comme c'est aimable à vous de vous rappeler la date de mon anniversaire! A mon âge, on a quelque scrupule à la fêter. Merci également d'avoir pris la peine de m'envoyer, avec vos vœux, cette revue extraordinaire où figure votre excellente traduction d'un extrait de mon "Gogol". Ce fut un véritable plaisir pour moi de lire mon texte en russe, avec toutes les nuances que vous avez merveilleusement transposées.

Je suis surpris d'apprendre qu'il existe des affiches de Nikita Balieff et de Marie Kuznetsov-Tarassov, à Moscou. Bien sûr, il me serait agréable d'en avoir une photographie. Mais je crains que cela n'entraîne des démarches compliquées de votre part, et je ne le voudrais pour rien au monde! Donc, ne faites rien.

Croyez, chère Madame, à mes sentiments les plus sympathiques

H. Troyat

Письма Анри Труайя переводчице в связи с публикацией его статей о Гоголе и книги «Александр I», вышедшей в серии ЖЗЛ в 1997 г.

notes

Примечания

1

Henri Troyat. Un si long chemin. Paris. Stock. 1993. – Полный перевод осуществлен по этому изданию. Название книги «Моя столь длинная дорога» предложено самим автором: Письмо А. Труайя Н. Т. Унанянц от 3 января 2005 года.

2

Боссюэ Жак-Бенинь (Bossuet J.-B., 1627–1704) – французский богослов, неутомимый писатель и проповедник. Обыгрывается совпадение первой части его фамилии и латинского слова Bos – бык, вол (*лат.*).

3

Вол тащит плуг по привычке (*лат.*).

4

Пастернак Леонид Осипович– русский живописец и рисовальщик, иллюстратор произведений Толстого, подолгу живший в Ясной Поляне.

14 ноября по новому стилю. (*Прим. автора.*)

6

Эскалад (*фр. l’escalade* – штурм крепостных стен с помощью лестниц) – годовщина победы женевцев над савойцами в ночь с 11 на 12 декабря 1602 года. (*Здесь и далее примечания переводчика. Примечания автора оговариваются*.)

7

Первая политическая полиция советской власти, в 1922 г. замененная ГПУ. (*Прим. автора.*)

8

Что? Как? Что вы сказали? (*фр.*)

9

Как? Каким образом? (*фр.*)

10

Французская свинья (*нем.*).

11

То есть играть на квит (арго игроков), уступив (продав) право играть на весь свой выигрыш, давая проигравшему шанс отыграться.

12

«Le murmure du ruisseau» – журчание ручья.

13

В оригинале «La Clef de voûte» – *букв.* замóк свода, замкóвый камень *(фр.)* В русском издании рассказ назван «Тень» по договоренности с автором. Письмо А. Труайя Н.Т. Унанянц от 3 января 2005 года.

14

Полан Жан (1884–1968) – французский писатель, поэт, критик, теоретик литературы, языковед.

«Еженедельное обозрение» *(фр.)*.

16

Думер Поль (1857–1932) – французский государственный и политический деятель. Президент Франции в 1931–1932 гг.

17

Радиге Раймон (1903–1923) – французский писатель и поэт. В его романах рационалистический анализ душевных метаний героев сочетается с классически ясным языком и лаконизмом стиля.

«Обозрение Франции» (*фр.*).

Чиж В.Ф. Достоевский как психопатолог (1885). – Достоевский как криминолог (1901). – В кн.: Чиж В.Ф. Болезнь Гоголя. М.: Республика, 2001.

FFI – Forces Françaises de l’Interieur – Французские внутренние силы (*фр*.), объединение весной 1944 г. разных боевых групп Сопротивления в единую армию французских внутренних сил.

21

Отклики на публикацию А. Труайя этих писем Дантеса см.: Звенья, т. IX. М., 1951 (М. Цявловский); Вопросы литературы, 1980. № 6. С. 200; Звезда, 1995. № 9; Звезда, 1997. № 8; Вопросы литературы, 1997. № 9, 10. С. 145–174.

Гамбургеров (*англ.*).

23

Буфет или кафе (обычно при гостинице – *англ.*).

24

Ленотр, Жорж (1857–1935) – французский историк, автор популярных книг о Великой французской революции.

25

В последний момент (*лат.*).

26

В 1979 г. на студии Арменфильм по роману «Снег в трауре» режиссером Ю. А. Ерзинкяном был снят телефильм, получивший положительные отзывы критики и зрителей. В главной роли – Армен Джигарханян.

27

Межев – зимний курорт в Северных Альпах в департаменте Верхняя Савойя.

28

Ростан Жан (1894–1977) – французский биолог, специалист по партеногенезу. Сын Эдмона Ростана.

29

Centre National de la Recherche Scientifique – Национальный центр научных исследований (*фр.*).

30

«*La Malandre*» – *букв.* загнившее место в балке деревянного сооружения (*фр.*).

31

За последние десятилетия А. Труайя написал несколько «французских» биографий: Flaubert (1988), Mapassant (1989), Zola (1992), Verlaine (1993), Baudelaire (1994), Balzac (1995), Juliette Drouet (1997).

32

Эти книги вышли в издательстве Фламмарион: «Alexandre II» – 1990 г., «Nicolas II» – 1991 г.

33

Оладьи (*англ.*).

34

Le Front dans les nuages – *букв.* «Лицом к облакам» (*фр.*).

35

Популярный персонаж французско-бельгийских комиксов.

Крыло ходового мостика (*морск., англ.*).

Poilu – солдат, фронтовик Первой мировой войны (*фр.*).